

ВЯЧЕСЛАВ ШИШКОВ



Узвюм-река  
КНИГА 2



Кинообложка

Вячеслав Шишков  
**Угрюм-река. Книга 2**

«ЭКСМО»

1928-1933

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Шишков В. Я.**

Угрюм-река. Книга 2 / В. Я. Шишков — «Эксмо»,  
1928-1933 — (Кинообложка)

ISBN 978-5-04-118826-9

Взлеты и падения, счастье и трагедии, тяжкий труд и немереное богатство – все это выпало на долю золотопромышленников Громовых. Тяжка власть золота, но сильнее золота любовь. Именно она завязывает трагический узел судьбы Прохора Громова, красавицы Анфисы, неукротимого Ибрагима. Темная дикая страсть сжигает их сердца, и ее не в силах оборвать роковой выстрел, раскатившийся над просторами Угрюм-реки.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-118826-9

© Шишков В. Я., 1928-1933  
© Эксмо, 1928-1933

## Содержание

Часть пятая	6
I	6
II	10
III	15
IV	21
V	29
VI	33
VII	37
VIII	42
IX	47
X	50
XI	57
XII	61
XIII	65
XIV	69
XV	74
XVI	79
XVII	83
Конец ознакомительного фрагмента.	89



# **Вячеслав Яковлевич Шишков**

## **Угрюм-река. Книга 2**

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

## Часть пятая

### I

В Петербурге Прохор Петрович сумел многое сделать. Побывал на огромном машиностроительном заводе, где по одобренным Протасовым чертежам заказал для своей электростанции турбину в пять тысяч киловатт, побывал в горном департаменте, чтоб посоветоваться о выписке из Америки драги для золотых приисков. Наконец разыскал поручика Приперентьева, которому перешел по наследству от брата золотиносный, остолбленный в тайге участок.

Поручик Приперентьев жил в двух комнатах на Моховой, у немки; ход через кухню. Неопрятный, с сонным лицом денщик, поковыривая в носу, не сразу понял, что от него хочет посетитель. Прохор дал ему два рубля – денщик мгновенно поумнел и побежал доложить барину.

Поручик принимал Прохора в прокуренной, с кислым запахом комнате. У него одутловатое лицо, черные усы, животик и, не по чину, лысина. Поручик тоже не сразу понял цель визита Прохора и, наконец кое-что уяснив, сказал:

– Ни-ко-гда-с... Я выхожу в отставку. Впрочем... черт!.. Ну, что ж... У меня как будто водянка, как будто бы расширение сердца... Словом, понимаете? Да. Выхожу в отставку и еду сам в тайгу, на прииск...

Прохору было очевидно, что поручик ошарашен его появлением, что поручик давным-давно забыл о прииске и теперь нарочно мямлит, придумывая чепуху.

– Для эксплуатации участка нужен большой капитал. Вы его имеете? – ударил его Прохор вопросом в лоб.

Поручик Приперентьев схватился за лоб, попятился и сел.

– Прошу, присядем. Насчет капиталов – как вам сказать?.. И да и нет... Впрочем, скорей всего – да. Я женюсь... Невеста с приличным состоянием... Сидоренко! Кофе...

Поручик наморщил брови, надул губы и с независимым видом стал набивать трубку.

– Впрочем... Знаете что? Кушайте кофе. Сигару хотите? Впрочем... у меня их нет... Этот осел денщик! Тьфу!.. Знаете что? Приходите-ка сегодня ко мне вечером поиграть в банчок. В фортуна верите, в звезду? Ага! Можете выиграть участок в карты. Я его ценю в сто тысяч.

– Я бы мог предложить вам тыщу...

– Что? Как?! – Поручик выпучил продувные, с наглинкой глаза и прослезился.

– Тыщу, – хладнокровно сказал Прохор, отодвигая чашку с кофе. – В сущности, вы потеряли на него все права... Эксплуатации не было около двадцати лет, срок давности миновал. Но мне не хочется начинать в департаменте хлопоты об аренде, я желал бы сойтись с вами... Из рук в руки...

– Впрочем... Это какой участок? Вы про какой участок изволите говорить?

– Как – про какой? Да в тайге, золотиносный...

– Ах, тот! – басом закричал поручик и завертел головой. – Семьдесят пять тысяч... Ха-ха... Да мне в прошлом году давали за него двести тысяч... Я был при деньгах, сделкой пре-небрег...

– Кто давал?

– Золотопромышленник Пупков, Петр Семенович.

– Такого нет...

– В этом роде что-то такое, понимаете: Пупков, Носков, Хвостов... Знаете, такой с бородкой. Итак, семьдесят пять тысяч...

– Тыщу...

– Я шуток не люблю. Впрочем, я кой с кем посоветуюсь. Позвоните завтра 39–64. Адъё... Мне в полк... Эй, Сидоренко!..

Прохор, конечно, не звонил и больше с поручиком не видался. А Яков Назарыч, угостив Сидоренко в трактире водкой, пивом и яишенкой с ветчинкой, выведал от него необходимое. Барин – мот, картежник, пьяница, иногда при больших деньгах, но чаще пробивается займом денег по мелочам: то у хозяйки Эмилии Карловны, то у несчастного денщика Сидоренко. Недавно барин сидел на гауптвахте, недавно барина били картежники подсвечником по голове, а на другой день барин избил ни в чем не повинного денщика. Надо бы пожаловаться по начальству, да уж Бог с ним.

Рассказывая так, подвыпивший Сидоренко горько плакал.

И ровно в двенадцать Прохор Петрович был на приеме у товарища министра. В новом фраке, с цилиндром в руке, слегка подпудренный, с усами и бородкой, приведенными в культурный вид, он стоял в приемной, любуясь собою в широком, над мраморным камином, зеркале.

– Их превосходительство вас просят.

Прохор, с высоко поднятой головой, вошел в обширный, застланный малиновым ковром кабинет. Сидевший за черным дубовым столом румяный старичок, в партикулярном сюртуке, с орденом Владимира на шее, указал ему на кресло. Прохор поклонился, сел. Старичок метнул на него бывалым взглядом, потербил крашеную свою бородку, снял очки.

– Я вас принял тотчас же потому, что знаю, кто вы. Излагайте.

Прохор изложил дело устно и подал докладную записку.

– Ага, – сказал старичок и мягко улыбнулся. – Хорошо-с, хорошо-с... Зайдите дня чрез три... Впрочем, чрез неделю. Вы не торопитесь? Итак, чрез неделю, в четыре часа ровно... – И он сделал в календаре отметку.

Прохор встал. Старик протянул сухую, в рыжих волосинках, руку. Прохор сказал:

– Могу ли я, ваше превосходительство, надеяться, что моя просьба будет уважена?

– Гм... Сразу ответить затрудняюсь. Дело довольно туманное. Знаете, эти военные. Этот ваш, как его... Запиральский...

– Приперентьев, ваше превосходительство.

– Да, да... Приперентьев... Ну-с... – Румяный старичок широко улыбнулся, обнажая ровные, блестящие, как жемчуг, вставные зубы. – Я передам вашу записку на заключение старшего юрисконсульта, он по этой части дока. Надо надеяться, молодой человек. Надо надеяться.

Ровно через неделю, в четыре часа, Прохор вновь был у товарища министра. Старик на этот раз – в вицмундире, со звездой, поэтому при встрече вел себя с подобающим величием.

– Ну-с? Ах, да. Садитесь, – сухо и напыщенно проговорил он. – Вы, кажется... Вы, кажется... По поводу...

– По поводу отобрания от поручика Приперентьева золотоносного участка и передачи его мне, ваше превосходительство.

– Да, да... Великолепно помню. Столько дел, столько хлопот. Бесконечные заседания, комитеты, совещания... С ума сойти... – Он произнес это скороговоркой, страдальчески сморщившись и потряхивая головой. – По вашему делу, милостивый государь, наводятся некоторые справки. У нас в столице подобные дела вершатся слишком, слишком медленно... Море бумаг, море докладов... Гибнем, гибнем! Придите чрез неделю. Но предвараю вас: розовых иллюзий себе не стройте – поручик Приперентьев подал встречное ходатайство... А что, у вас большое дело там, дома?

– По нашим местам солидное...

–оборотный капитал?

– Миллионов десять-двенадцать, ваше превосходительство.



Сановник вдруг поднял плечи, вытянул шею и быстро повернулся лицом к Прохору, сидевшему слева от него.

– О! – поощрительно воскликнул он, и все величие его растаяло. – Похвально. Очень, оч-чень похвально, милостивый государь. Итак... – Он порывисто поднялся и заискивающе пожал руку Прохора.

Представительный, весь в позументах, в галунах швейцар, подавая пальто, спросил Прохора:

– Ну как, ваша честь, дела, осмелюсь поинтересоваться?

– Неважны, – буркнул Прохор и вспомнил давнишний совет Иннокентия Филатыча: «Швейцарец научит либо лакей, к нему лезь». Широкобородый седой швейцар, похожий в своей шитой ливрее на короля трэф, взвешивал опытным взглядом, в каких капиталах барин состоит. Прохор сунул ему четвертной билет и пошел, не торопясь, к выходу. Швейцар, опередив его, отворил дверь и, низко кланяясь, забормотал:

– Премного, премного благодарен вами, ваша честь. И... дозвоьте вам сказать... В прихожей-то неудобственно, народ. Мой вам совет, в случае неустойки али какого-либо промедления, действуйте чрез женскую, извините, часть... То есть... Ну, да вы сами отлично понимаете: любовный блезир, благородные амуры. Да-с... Например, так. Например, их превосходительство аккредитованы у мадам Замойской.

– Графиня?! – изумился Прохор, и сердце его заныло. Пред глазами быстро промелькнули: Нижний Новгород, ярмарка, зеленый откос кремля, воровская шайка. – Замойская? Графиня?

– Без малого что да. Баронесса-с... И соблаговолите записать их адресок.

Меж тем кончался срок высидки Иннокентия Филатыча. Прохор без него скучал. Яков Назарыч целиком ушел в дела, к нему насчет «прости Господи» – не подступись. А тот веселый старикан, с выдумкой, – авось какое-нибудь легкое безобразие вкупе с ним и сотворили бы. Да, жаль... И угораздило же черта беззубого порядочным людям носы кусать...

Утром постучали в номер. Вошел верзила в форме тюремного ведомства. Морда бычья, с перекосом. Не то улыбнулся, не то сморщился, чтобы чихнуть, и подал розовый, заляпанный масляными пятнами пакетик:

– Письмо-с! От именитого сибирского золотопромышленника Иннокентия Филатыча Груздева с сыновьями.

– У него дочь-вдова. Да и нет такого золотопромышленника. Чего он там?

– Извольте прочесть.

*«Милый Прошенька. Прости Бога для. Денежки твои – две с половиной тысячи, которые пропили всей тюрьмой. А то скука. Ноги мои опухли, и лик опух, а посторонних людей все-таки узнаю, не сбиваюсь. В эту пятницу привези, пожалуйста, какую-нибудь одежку по росту и сапоги. Еще какой-нибудь картузишко. А свое все пропито, которое украли, сию в ресторанском халате, виша ест».*

– Что же, в пятницу он выходит? – спросил Прохор, передавая письмо Якову Назарычу.

– Так точно-с... – сказал верзила, стоя во фронт и придерживая рукой шапку.

– Веселый старик?

– Очень даже-с... Уж на что помощник начальника тюрьмы, а и тот кажинный Божий день два раза пьяный в доску-с. И надзиратели пьяные, и вся камера пьяная.

Прохор дал ему три рубля и отпустил. Яков Назарыч хохотал.

В день выхода старца на свободу в вечерней «Биржевке» был напечатан кляузный фельетон: «Веселая тюрьма». Талантливо описывая пьяную вакханалию в одной из петербургских тюрем, автор фельетона требовал немедленного расследования этого неслыханного дела и при-

мерного наказания виновных, во главе с начальником тюрьмы и героем «всемирного пьянства» сибиряком И. Ф. Груздевым, заключенным в узилище за укушение носа обер-кондуктору Храпову.

Освобожденный Иннокентий Филатыч скупил около сотни номеров этой газеты и разослал ее всем знакомым с наклеенной под заметкой надписью: «На добрую память из Петербурга».

Иннокентий Филатыч чувствовал себя вознесенным на небо. Он ходил по Питеру с видом всесветно известного героя, всем улыбался, заглядывал в глаза, будто хотел сказать: «Читали? Иннокентий Груздев – это я».

## II

– А не желаете ль, мадам, прогуляться?

– Отчего ж... С вами всегда рада. Вы вечно заняты, к вам не подступись.

Нина в белом, замазанном свежей землей халате копалась у себя в саду.

– Что? Селекционные опыты, гибриды, американские фокусы? – присел возле нее на скамейку Андрей Андреевич Протасов.

– Да. Вот поглядите, какой удивительный кактус... Совершенно без колючек. Чудо это или нет? Где вы видели без колючек кактусы?... Ну, ну?

– А какая разница: в колючках эта дрянь или без колючек? Трава – не человек.

– Во-первых, это не трава. А во-вторых...

– А во-вторых, я очень жалею, что у вас, в вашем характере нет ни одной колючки. А не мешало бы...

– Зачем?

– Ну, хотя бы для того, чтоб больно, в кровь колоть. Ну, например... Кого же? Ну, вашего супруга, например... Простите меня... За его беспринципность... За его, я бы сказал... ну, да вы сами знаете, за что...

Нина выпрямилась, бросила железную лопатку, и ее стоптанные рабочие башмаки стали носками круто врозь.

– Да как, как?! – горячо, с горестью воскликнула она. – Ах, если бы он был кактус, жасмин, яблоня!.. Тогда можно было бы привить, облагородить... Но, к сожалению, он человек. Да еще какой: камень, сталь!

– Вы спрашиваете меня – как? Хм. – Протасов улыбнулся и стал в смущении ковырять землю тросточкой. – Важно, чтоб в вашем сознании созрела мысль бить силу силой, убеждения – контрубеждениями. А как именно, то есть – вопрос тактики?... Хм... Простите, я в это не имею права вмешиваться... Уж вы как-нибудь сами, своим умом и сердцем.

Их глаза встретились и быстро разошлись. Нина, вздохнув, сказала:

– Пойдемте, я покажу вам мои успехи.

Они двинулись дорожкой. Инженер Протасов – вяло и расхлябанно, Нина – четкой, быстрой ступью. Миновали две гипсовые статуи Аполлона и Венеры с отбитыми носами, обогнули стоявшую на пригорке китайскую, увитую диким виноградом беседку, очутились в обширном фруктовом саду, обнесенном высоким забором с вышкой для караульного. Длинные, ровные, усаженные ягодами гряды и ряды молодых плодоносных деревьев.

– Где это видано, чтоб в нашем холодном краю могли расти яблоки, вишни, сливы?... Вот они! Сорвите, покушайте. А вот малина по грецкому ореху, а вот созревающая ежевика. Особый ее сорт, я очень, очень благодарна мистеру Куку.

– В сущности, не ему, а Лютеру Бёрбанку. Так, кажется?

– Да, главным образом, конечно, и ему – этому знахарю, этому «стихийному дарвинисту», как его называют в Америке. Но если б не мистер Кук, я о существовании Бёрбанка и не подозревала бы.

Действительно, мистер Кук, безнадежно влюбленный в Нину, заметив в ней склонность к садоводству, еще года три тому выписал из Америки и подарил ей к именинам великолепное, в двенадцати томах, издание «Лютер Бёрбанк, его методы и открытия», с полутора тысячей цветных, художественно исполненных таблиц, освещающих этапы жизни этого гениального ботаника-самоучки из Калифорнии.

Инженер Протасов о подарке знал и это сочинение с интересом рассматривал, но он не мог подозревать, что вскоре после поднесения подарка мистер Кук, при помощи угроз убить себя, вымолил у Нины вечернее свидание. Тайная, неприятная для Нины встреча состоялась в



кедровой роще, недалеко от башни «Гляди в оба». В чистом небе плыл молодой серп месяца, прохладный воздух пах смолой. Мистер Кук поцеловал Нине руку, упал пред нею на колени и заплакал. Нину била лихорадка. Мистер Кук от страшного волнения потерял все русские слова и, припадая высоким лбом к ее запыленным туфелькам, что-то бессвязно бормотал на непонятном Нине языке. Нина подняла несчастного, держала его похолодевшие руки в своих горячих руках, сказала ему:

– Милый Альберт Генрихович, дорогой мой! Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить как славного человека. Не больше.

– О да! О да! На чужой кровать рта не разевать!.. – в испуге заорал мистер Кук, резко рванулся, выхватил из кармана револьвер и решительно направил его в свой висок. Нина с визгом – на него. Он бросился бежать и на бегу два раза выстрелил из револьвера в воздух, вверх. Вдруг вблизи раздался заполошный женский крик.

– Помогите, помогите! Караул!! – и чрез просветы рощи замелькали пышные оборки платья вездесущей Наденьки, мчавшейся к башне «Гляди в оба».

Об этом странном происшествии инженер Протасов, конечно, ничего не знал. Забыла бы о нем и Нина, если б не шантажистка Наденька. Время от времени она лстивой кошечкой является в дом Громовых, получает от хозяйки то серьги, то колечко, то на платье бархату и всякий раз, прощаясь, говорит:

– Уж больше я вас не потревожу.

А мистер Кук, если б обладал даром провидца, может быть, и не стал бы стрелять из револьвера по-пустому вверх, он, может быть, и сумел бы тогда привести свою угрозу в исполнение. Он не мог предполагать, что предмет его неудачных вожделений – Нина – давно таит в своем сердце любовь к счастливому Протасову. Однако это чувство, полузаконное, но прочное, загнано Ниной на душевные задворки, затянуто густым туманом внутренних противоречий разума и сердца, пригнетено тяжелым камнем горестных раздумий над тем, что скажет «свет». Словом, чувство это было странным, страшным и таинственным даже для самой Нины. Неудивительно поэтому, что не только простоватый на жизненные тонкости мистер Кук, но и сам вдумчивый, внимательный Протасов не мог помыслить о том, что таится в сердце всегда такой строгой к самой себе, пуритански настроенной хозяйки. А между тем и сам Андрей Андреевич Протасов был слегка отравлен тем же самым дивным ядом, что и мистер Кук. Но принципы... Прежде всего принцип, целеустремленность – те самые идеи, в сфере которых он существовал, и, скованный иными, чем у Нины, настроениями, он ставил эти захватившие его идеи превыше всяческой любви.

Так существовал скрытый до поры тайный лабиринт пересечений от сердца к сердцу, от ума к уму. А над всем стояла сама жизнь с ее неотвратимыми законами, их же не прейдет ни один живой.

– Да, да... Очень прекрасные яблоки!.. А сливы еще вкусней, – смачно чавкая, говорил Протасов. – Ну что ж... Новая положительная ваша грань... Вообще вы...

– Что?

Инженер Протасов вытер о платок руки, вытер бритый строгий рот и бесстрастно взглянул чрез пенсне в большие, насторожившиеся глаза Нины.

– Вы могли бы быть чистопробным золотом, но в вас еще слишком много лигатуры.

Глаза Нины на мгновение осветились радостью и снова загрустили.

– Лигатура? То есть то, что нужно сжечь? Например?

– Сжечь то, что вам мешает быть настоящим человеком. Сжечь детскую веру в неисповедимую судьбу, во все сверхъестественное, трансцендентное...

– Выгнать отца Александра, церковь обратить в клуб, навсегда ограбить свою душу... Так? Благодарю вас!

– Ваш интеллект, я не скажу – душа, нимало не будет ограблен. Напротив, он обогатится...

– Чем?

– Свободой мировоззрения. Вы станете на высшую ступень человека. Вы не будете подчинять свое «я» выдуманным людьми фетишам, заумным фата-морганам, вы вознесете себя над всем этим. Ведь истина всегда конкретна. Устремления вашего разума сбросят путы, цель вашей жизни приблизится к вам, станет реальной, исполнимой, вы вольной волей забудете себя и вольной волей отдадите свои силы людям, коллективу людей, обществу.

– Друг мой! – с пылом, но сдерживая нарастающее раздражение, воскликнула Нина. – Неужели вы думаете, что я, христианка, не работаю для общества? Моя вера зовет меня, толкает меня, приказывает мне быть среди униженных и оскорбленных. И по мере сил я – с ними. А относительно фетишизма – у меня свой фетиш, у вас – свой.

– У меня – народ.

– У меня тоже.

– У вас муж, семья, сытая жизнь. Чрез голову богатства вам трудно наблюдать нищету, обиду эксплуатируемых.

– Вы желаете, чтоб я отказалась от семьи, от мужа, от богатства? Вы очень многого требуете от меня, Протасов.

– Если не ошибаюсь – ваш Христос как раз требует от вас того, от чего вы не можете отказаться. Значит, или слаб его голос, или слабы вы.

Они давно покинули сад, шли вдоль поселка, к его окраине. Смущенная Нина глядела в землю. Инженер Протасов смысл своих речей внутренне считал большой бестактностью и укорял себя за то, что затеял, в сущности, праздный, неприятный разговор.

Проходили мимо семейного барака. Четыре венца бревен над землею и – на сажень в землю. У дверей толпа играющих ребятишек с тугими животами.

– Я здесь никогда не бывала, – сказала Нина. – Я боюсь этих людей: все золотоискатели – пьяницы и скандалисты.

– Любовь к цветам и вообще к природе выводит человека за пределы его мира. Вот мы с вами сейчас в другом мире, не похожем на наш мир. Может быть, заглянем? – осторожно улыбнулся инженер Протасов.

И они, спустившись по кривым ступенькам, вошли в полуподземное обиталище. Из светлого дня – в барак, как в склеп: темно. Нинушибанул тлетворный, весь в многолетнем смраде воздух. Она зажала раздушенным платком нос и осмотрелась. На сажень земля, могила. Из крохотных окошек чуть брезжит дряблый свет. Вдоль земляных стен – нары. На нарах люди: кто по праздничному делу спит, кто чинит ветошь, кто, оголив себя, ловит вшей. Мужики, бабы, ребятишки. Шум, гармошка, плевки, перебранка, песня. Люльки, зыбки, две русские печи, ушаты с помоями, собаки, кошки, непомерная грязь и теснота.

– Друзья! – сказала Нина громко. – Почему вы не откроете окон? Бог знает какая вонь у вас. Ведь это страшно вредно...

– Ах, вредно?! – прокричали с трех мест голоса. – Ты кто такая?

– Барыня это, барыня, – предостерегающе зашуршало по бараку, и шум стал смолкать.

– Ах, барыня? Нина Яковлевна? Добро! Садись на чем стоишь. Вскородие, присаживайся и ты. Срамота у нас. Многолюдство... Вши. Не подцепите вшей. Они злобные, кусучие... Вон старик помирает в том углу. А эвот баба сейчас родить будет, мается. Да двенадцать человек хворые, простыли, всё в воде да в воде, а Громов обутки не дает. Жадина!.. Уж ты, барыня, прости. Ты не в него, ты с понятием. Приклоняешься к нам, грешным...

Говорило одновременно человек десять. У Нины горели уши. Не знала, как и что ответить.

– Вот видишь:дохнем! – вырос пред Ниной пьяный, с повязкой по голове, бородач с красными больными веками. – Дохнем, пропадаем! Ты можешь вверх головой нашу жизнь поставить, чтоб по-людски? Не можешь? Ну, так и убирайся к черту.

– Яшка! Дурак! Что ты?! – набежали на него.

И Протасов сказал, сверкнув сузившимися глазами:

– Слушай, приятель... Будь человеком...

– Здорово, барин!.. Не заметил тебя. Темно. Мы тебя, барин, уважаем, ты сам в подчинении. А этих... – заорал он, размахивая тряпкой. – Громовых... Ух, ты!..

– Стой! Яшка, дурак!.. Не пикни! – снова налетели на него. – Ты Нину Яковлевну не моги обижать...

– Все они – гадючье гнездо... – И Яшка стал ругаться черной бранью. Его схватили, поволокли в угол. – Я правду говорю, – вырывался он. – Десятники нас обманывают, контора обсчитывает, хозяин штрафует да по зубам потчует. Где правда? Где Бог? Бей их, иродов! Бей пристава!

Нину прохватила дрожь. Ей хотелось кричать и плакать. Протасов кусал губы. Земляные стены, земляной, в хлюпкой грязи, пол. Возле стола, раздувая перепончатое горло, пыхла жаба. Девчонка гонялась за торопливо ползущим черно-желтым ужом, била его веником. Уж свертывался в клубок, шипел, страшил девчонку безвредным жалом.

– Палашка! Пошто животную мучишь?.. Я те! – грозилась седая, с провалившимся ртом старуха.

В углу, возле изголовья умирающего, баба зажигала восковые свечи. В другом углу роженица завывала диким воем.

По заплесневелым бревнам ползли ручейки.

Бородач Яшка разбушевался: опрокидывал скамьи, швырял чужие сундуки с добром. На него налегли, будто медведи, такие же пьяные, такие же озверелые, как и он сам:

– Яшка! Что ты... А ну, ребята, вяжи его!.. Волоки в чулан...

К общей ругани присоединила свой громкий плач орава детворы. Стонавшая роженица разразилась таким жутким, непереносимым ревом, что Нина, заткнув уши и вся содрогнувшись, выскочила вон и с жадностью, как освободившись от петли, стала вдыхать свежий воздух.

– Теперь пойдемте в другой барак, к холостякам.

– Благодарю вас... Довольно.

*«Прохор! Я совсем не получаю от тебя писем. Конторе ты послал пятьдесят две телеграммы, мне – ни звука. Чем это объяснить? Молчат и папа с Груздевым. Пьянствуете, что ли? Вчера я с Андреем Андреевичем побывала в бараке № 21. Обстановка хуже каторжной. Она вызывает справедливый укор хозяину, низведшему людей до состояния скотов, и нехорошие чувства к этим самым людям-рабам, которые способны переносить такую каторжную жизнь и терпят такого жестокосердного хозяина, как ты. Прости за резкость. Но я больше не могу. Я приказала партии лесорубов заготовить материалы для постройки жилых домов, просторных и светлых. Уж ты не взъеши. Делу не убыток от этого, а польза. В крайнем случае половину расходов принимаю на себя. Я больше не могу. Я не хочу участвовать в таком преступном отношении к человеческим жизням. Не сердись, пойми меня и, поняв, прости.*  
*Нина».*

Через одиннадцать дней, как отзвук на письмо, получились две телеграммы. На имя инженера Протасова:



*«Лесорубам продолжать заготовку бревен для сплава. Никаких барачков не строить. Посторонних вмешательств в ваши распоряжения не допускать. Громов».*

На имя Нины Яковлевны:

*«Живы-здоровы. Занимайся дочерью и яблоками. Мерехлюндию оставь при себе. Тон письма новый. Догадываюсь, кем подсказан. По приезде поговорим. До свидания. Прохор».*

А вскоре за этими телеграммами были получены от Иннокентия Филатыча по двенадцати адресам местной знати двенадцать номеров «Биржевки».

Все много смеялись. Анна же Иннокентьевна целую неделю ходила с заплаканными глазами.

### III

Прохор Петрович Громов давно известен коммерческим кругам Петербурга. Опытные капиталисты, предсказывая Прохору блестящую судьбу, открывали ему неограниченный кредит. Наиболее тороватые просились в пай. Ведь в Сибири непочатый угол богатств, ему одному не совладать. Но Прохор Петрович предпочитал делать жизнь особняком, он ни в ком не нуждался. Пусть фирма «Прохор Громов» будет греметь на всю Россию. А пройдут сроки, может быть, и кичливая заграница поклонится его делам.

Да оно к тому и шло. Щетина, конский волос, мед, драгоценные меха направлялись Прохором непосредственно в Данциг, Гамбург, Ливерпуль. Впрочем, и на долю России оставалось много. С московской фирмой он заключил выгодную сделку на пушнину, на восемьсот тысяч серебром. В Питере взял многомиллионный подряд снабжать одну из железных дорог края лесом, шпалами, штыковой медью, чугуном. Новый золотой прииск тоже сулил ему несметные богатства.

Прохор всегда был крут в поступках, поэтому, не откладывая в долгий ящик начатых хлопот, он в час дня звонил к баронессе Замойской. Он намеренно оделся былинным «добрым молодцем». Великолепно сшитая поддевка, голубая шелковая рубаша, лакированные сапоги. Он нажал кнопку с некоторым внутренним содроганием. Его выводила из равновесия вкоренившаяся мысль, что баронесса Замойская есть та самая графиня, которая обольстила его в Нижнем.

Он передал швейцару карточку с золотым обрезом: *«Прохор Петрович Громов, сибирский золотопромышленник и коммерсант»*. Швейцар прищурился, прочел, подобострастно поклонился Прохору и позвонил.

– Гость! Отнеси баронессе, – начальственным тоном сказал он выскочившей горничной.

– Какая она из себя? – спросил Прохор, прихорашиваясь у зеркала.

– Да обнаковенная, ваша милость, – сделал швейцар рот ижицей и прикрыл его кончиками пальцев. Он был много проще величественного министерского швейцара: нос пуговкой и ливрея грубого сукна.

– Блондинка, черная?

– Черная, черная!.. Это вы изволили угадать.

– Полная?

– Да, приятная пышность есть.

– Баронесса просит вас пожаловать, – распахнула двери горничная.

Голову вверх, – Прохор направился в гостиную. На его мизинце – крупнейший бриллиант.

– Будьте столь добры присесть.

Зеркала в золотых обводах, шкура белого медведя. На потолке – три голые девы и парящие амуры.

Раздвинулась портьера, и, шурша юбками, вышла баронесса. Сердце Прохора упало. Нет, не та. Встал, склонился, крепко чмокнул руку.

– Боже, какой вы огромный!.. И какой... – Она хохотнула себе в нос, оправила кружева на высоком бюсте и произнесла: – Присядем.

Прохор хлопнулся в крякнувшее под ним кресло.

– Простите, осмелился – так сказать...

– Я очень рада... Вы курите? Пожалуйста. – Она протянула свой золотой портсигарчик гостю и сама закурила.

Прохору было видно, как в соседней комнате лохматая беленькая собачонка повертелась возле стоявшего на полу вазона с цветком и бесстыдно подняла ногу. Прохору стало смешно. Кусая губы, он сказал:

– Какая прекрасная в Петербурге осень.

– Да. Вообще Петербург – чудо. Ну а как Сибирь? Вы женаты? Большое у вас дело? Надолго ль вы в Питер? А оперу посещаете? Ну, как Шаляпин?

Прохор заикался на каждый вопрос ответом, но баронесса в тот же миг его перебивала.

Подали на подносе чай с лимоном, с розовыми сушками. Почему-то три чашки.

– Доложите Семену Семенычу, что чай готов.

Горничная в накрахмаленном фартуке, выстукивая каблукочками, скрылась. Баронесса оправила черные локоны, схваченные над ушами обручем в виде блестящей змейки, и, откинувшись в кресле, облизнула тонкие малиновые губы:

– Позвольте! Так это, верно, про вас говорил Семен Семеныч?

– Простите... Кто такой Семен Семеныч?

Баронесса, заглядывая ему в глаза, пригнула голову к левому плечу, погрозила гостю мизинчиком и захохотала в нос:

– Ая-яй!.. Ая-яй!.. Так вы не знаете генерала, у которого...

– Простите! – обескураженно воскликнул Прохор. – Так-так-так.

В это время чрез соседнюю комнату катился петушком сановник.

– Гоп-ля-гоп! Гоп-ля-гоп! – пощелкивал он пальцами вскинутой руки, а собачонка, встряхивая шерстью и кряхтя, подскакивала в воздухе.

– Семен Семеныч, вы не ожидали гостя?

– Ба! Да... – с распростертыми руками направился он к Прохору, но шагах в трех вдруг остановился. – Что угодно? Ах, это вы? Рекомендую, Нелли... Прекрасный молодой человек. Только о делах ни слова... – затряс он на Прохора кистями рук. – Ни-ни-ни!.. В кабинет-с, в министерство-с... А я здесь... Знаете? Это моя кузина. Жена моя на водах, в Карлсбаде... На минутку-с, на минутку-с... завернул. Что, чай? Прекрасно. А я, кузиночка, уже в путь. Заседания, заседания... Сто тысяч заседаний... Даже в праздники. – И сановник схватился за голову. – С ума сойти.

Он чай выпил на ходу.

– Марта, портфель, перчатки! – Поцеловал баронессе руку, кивнул Прохору. – Итак, чрез недельку... Но предупреждаю... Впрочем, нет, нет... О делах ни звука. Адъё! – и от дверей, натягивая левую перчатку, крикнул:

– Кузина! Ради Бога... Предложи господину золотопромышленнику подписной лист. Ну сто, ну двести, сколько может... В пользу сирот отставных штаб-и обер-офицеров.

– Ваше превосходительство! – полез Прохор в карман. – Я рад буду подписать не сто, не двести... И в пользу кого угодно. Вот на пятнадцать тысяч чек. – И он положил синенькую бумажку на кремовый бархат круглого стола.

– О! О! О! – И старик, подскользнув, как конькобежец, по паркету к гостю, с небывалым жаром тряс его руку, восклицая: – Это... это... это... Большая жертва с вашей стороны. Еще раз мерси, горячее, горячее спасибо от лица всех благодетельствованных вами офицерских сирот. Загляните завтра в час... туда... Понятно? Я послезавтра уезжаю по епархии, с осмотром. У нас там кой-какие... Итак... – Он весь вспыхнул, загребисто сунул чек в портфель и, вильнув взглядом по вдруг помрачневшему челу баронессы, с разбегу выехал на подошвах в дверь.

Прохор сидел недолго. Немножко поболтали, но разговор не клеился: мысли баронессы были сбиты, спутаны, глаза печальны, как у обворованной среди бела дня жертвы. Время уходит. Прохор был уверен, что дело завтра будет решено в его пользу. Он встал.

Баронесса, овладев собой, любовалась мощной фигурой Прохора. Черные, подведенные глаза ее горели искрами. Подавая теплую, в кольцах, руку, она сказала:

– Я жду вас послезавтра в семь...

– Утра?

– Ха-ха!.. Смешной!..

– Простите... Вечера, конечно... Рад!

– Прокатимся на острова. А там видно будет, куда еще. Познакомлю с подругой. Эффектная такая, знаете, кустодиевская... Но... – И она вдруг загрозила пальцем. – Но я ревнива...

– Что вы, что вы!.. – смешался Прохор, а хозяйка раскатилась мягким серебряным смехом чуть-чуть в нос. – Но вы все-таки не сказали мне – женаты вы или нет?

– Женат, черт возьми, женат! – вырвалось у Прохора. Забыв поцеловать протянутую руку, он сжал ее так крепко, что хозяйка сморщилась вся и сказала: – Ой!

– Прииск за мной. Завтра – официально.

– Сколько стоило?

– Пятнадцать.

– Пустяки.

Иннокентий Филатыч вставил новые, хорошо пригнанные зубы и, как грудной младенец, учился говорить с азов. Все как-то не вытанцовывалось – сю-сю, сю-сю, – а когда старик напивался, бормотанье его становилось смешным и непонятным. Но он не унывал. С азартом помогал Прохору в работе, лично бегал на телеграф, производил нужные заготовки, купил и отправил большой скоростью в Сибирь десять вагонов мануфактуры, галантереи, обуви и других товаров. Кой-что подсунуто в общий счет и для своей лавчонки и на изрядную, конечно, сумму, но ведь Прохор Громов не станет же придирается к мелочи, на то он и Прохор Громов. А вечерами сидел где-нибудь в трактире, слушал цыган, певичек или смотрел кино. По субботам и в праздничные дни он посещал храмы. У Спаса на Сенной у него вытащили большой кошелек, но в нем было всего рубля на три серебра и старые челюсти с лошадиными зубами: Иннокентий Филатыч жалел их выбросить, полагая, что в коммерческом деле и они когда-нибудь да пригодятся.

Красивая, цыганского типа, баронесса в ландо рядом с Авдотьей Фоминишной Праховой, а напротив – Прохор. Экипаж, катившийся чрез Каменноостровский к Стрелке, сильно накренился в ту сторону, где сидела мадам Прахова, да и не мудрено: в этой молодой, но мастодонтистой даме никак не менее восьми пудов. Бюст выпирал горой: вот-вот лопнут шнурки, распадутся кружева. Прохора разбирало мальчишеское любопытство. А бедра, плечи, свежее, румяное, чуть надменное, чуть властное лицо! А эти рыжие, густые, пронизанные солнцем волосы, а большие серые, влекущие к себе глаза! А полные улыбчивые губы и веселый блеск ровных, как один, зубов. Тьфу, черт! Пропало твое сердце, Прохор...

– Гэп-гэп! – покрикивал лихач, и все мелькало, проносилось, отставало.

В пятом часу вечера инженер Протасов получил записку.

*«Миленький А. А. Приходите обедать. Мне почему-то очень, очень грустно. Н. Г.».*

Скоро полночь. Пристава нет. А он сидит, сидит. Наденька в смущении. Но эти ее фиogli-мigli давно знакомы Владиславу Викентьевичу Парчевскому. Он целует ее оголенную руку повыше локтя и слащаво, с дрожью говорит:

– Раз мужа нет, то... В чем же дело?

Наденька оправила подушки, отвернула одеяло. Инженер Парчевский снял с левой ноги сапог.

Часы пробили полночь.

– Ну-с?

– Что?

– Не пора ли домой, миленький сибирячок?

– У меня дом далеко, – ответил Прохор и погладил своей лапой маленькую, с розовыми ногтями кисть руки. – Разрешите два слова по телефону...

Маша, подслеповатая и пожилая – за одну прислугу – убирала со стола чай, пустые бутылки и закуску. Все трое были порядочно подвыпивши.

– Алло! Филатыч, ты? А я в одном доме задержался, у купца Серебрякова. Не жди. Ночую здесь. Ну, до приятного...

Он повесил трубку. Авдотья Фоминишна хохотала с каким-то задорным нахальцем, интригуяюще.

– Одна-а-ко... Одна-а-ко... – тянула она густым контральто. – Это мне нравится... Ха-ха!.. Так-таки без приглашенья? Одна-а-ко... И не стыдно вам?.. – Она допила бокал шампанского. Влажные губы ее ждали поцелуя. Глаза искрились по-грешному.

Прохор стоял, прислонившись спиной к печке, молчал, дышал, как зверь. Его распаляла страшная внутренняя сила.

Хозяйка подняла брови, пожала наливными плечами и, как бы прося пощады, страдальчески улынулась.

– Маша! – капризно крикнула она. – Маша! Приготовьте постель. И – меня нет дома. Я ночую у купца Серебрякова.

Тут все трое, вместе с рассолодевшей Машей, разразились громким смехом.

...Ночью инженер Протасов занес в неписанный дневник своего сердца:

«Удивительная эта женщина, – думал он. – В ней всякого жита по лопате. Святость борется с грехом. Сюда же вплетаются социалистические мысли. Но купеческая православная закваска и влияние отца Александра, этого древа без цветов, доминируют. Сказано: «Клин клином вышибай». Но как, как, если я почти люблю ее, а она влюблена в своего Христа? Разговор (в тысячный раз, на ту же тему):

– Удовлетворены ли вы семейным счастьем?

– Нет. Но принуждаю себя верить, что – да.

– Ради чего хотите обмануть свое сердце?

– Ради клятвы пред алтарем.

– Ну а ежели встретится человек, который войдет в ваше сердце и вытеснит из него все, все целиком, все прежние чувства ваши и привязанности? Все ваши алтари?

– Я пройду мимо такого человека. Я буду страдать до конца, до смерти, до пакибытия...

Она старалась говорить спокойным голосом, не встречаться со мной глазами, но ведь я-то чувствовал, как она вся внутренне дрожала, противоборствуя самой себе. Я тоже пробую бороться с собой. Во имя чего – не знаю. В конце концов мы будем вести сладостную войну друг с другом. За кем победа? Теория вероятности подсказывает ответ. Всяческие комбинации возможны.

Любовь дремлет в моем сердце, как в дереве потенциальная сила огня. Черт знает! Чувствую, что в душе моей крепнут чужие и чуждые мне пути. Ушел, поцеловал ей руку. Она поцеловала меня в лоб. От нее исходила какая-то заразительная и согревающая кровь чистота. Божественная женщина!»

В семь часов утра две головы под одеялом повернулись лицом к лицу, повели разговор и разговорчик. Было совсем светло. Поднялось над тайгой солнце.

– Вероятно, дядя назначит сюда жандармского ротмистра. Как ты к этому относишься?

Наденька молчала. Стражник не ночевал сегодня. Надо подыматься, ставить самовар, а неохота...

– Я предан престолу. Мой отец – герой турецкой кампании. Цель моей жизни – разоблачать всяческую сволочь вроде Протасова. А как думаешь, Нина Яковлевна его любит?

– Пока ничего не могу сказать тебе, Владенька. Потом разнюхаю. Да, по всей вероятности, наклеивается что-то...

– Я желал бы, чтоб Кэтти стала моей любовницей. Возможно это?

Наденька, как на булавках, быстро повернулась лицом к стене.

– Пани Надежда! Я ж пошутил.

Наденька, вздохнув, сказала:

– Она влюблена в Протасова, а Протасов у меня в руках. Кой-что знаю про него, про сицилиста. Захочу – тыщу рублей возьму с него, не меньше. Владенька, когда ж ты мне яду дашь из лыбылатории своей? – И она повернулась к нему лицом.

Парчевский не ответил. Помолчав, спросил:

– Я тебе, кажется, пятьсот должен? Можешь одолжить еще сто рублей?

– А ты меня любишь?

– Нет.

– Дурак!

Парчевский наморщил белый лоб и помигал обиженно.

– Я рабочих по морде бью, а Протасов с ними антимонии разводит. Я предан престолу... Ха-ха! Стачка, забастовка... Сволочи!.. Стрелять надо. А для чего тебе яд?

– Не любишь – и отчаливай. Другого счастливым сделаю. А ты сиди в этой трущобе, сиди, получай свои сто пятьдесят...

– Ты не знаешь, отчего я сижу здесь?

– Нет.

– Дура!

– Сам дурак!

– Дура в квадрате!

– Полячишка тонконогий!

– Дура в кубе! Я, к великому несчастью, картежник. Проиграл на службе в России казенных тысяч семь. Ну, у меня связи, – не судили. Однако со службы выгнали, опубликовали в приказе по министерству. Нигде не берут. Благодаря дяде попал сюда.

Наденька щупала свою бородавку, соображала.

– Я очень, очень богатая, – сказала она. – Мне довольно. Убегу. И захороваю себе дружка. В Крым уедем, а нет – на Кавказ. Вот куда.

– Да тебя пристав со дна моря вытащит.

– Либо меня вытащит, либо сам утонет.

Пили чай с вареньем, со свежими оладьями. Парчевский не торопился. Шел дождь, рабочим урок задан, Громова нет дома, – не беда и опоздать, не важно. Он взял сто рублей, надел запасной архалук стражника, поднял башлык и вышел в дождь, в простор. Поди-ка узнай его.

Рабочие пошабашили в семь вечера. В это время в Питере был в исходе лишь второй час дня. Сей дальний бок земли освещался солнцем много позже.

Проход открыл глаза и осмотрелся. Великолепная спальня карельской березы с бронзой. В широком зеркале отражается кровать, на которой он лежит, и балдахин над нею. Поясной, масляными красками портрет какого-то купца. Под его круглой бородой золотая медаль, а в петлице – орден.

Проход зевнул, потянулся, бесцеремонно крикнул:

– Дуня! Маша!



В спальню вошла в светло-розовом, без рукавов, пеньюаре Авдотья Фоминишна с горячим кофе на подносе.

– Бонжур, – сказала она хрипловатым контральто.

– Да-да, – промямлил гость, любуясь рослой женщиной, обладательницей здоровой красоты.

– Как почивали? – Она скользнула взглядом к зеркалу и придала лицу невинную девичью улыбку.

– Сладко спал. Видел такие сны, такие сны. Черт бы их драл, какие анафемские, грешные были сны!

С обольстительным жестом розово-белых рук она подала ему закурить.

– Мне снилось, что Авдотья Фоминишна Прахова едет со мной. Я ей строю дом в живописнейшей местности на берегу Угрюм-реки.

– Угрюм-реки? Какие роскошные слова!..

– Обстановка княжеская, пара рысаков, прислуга и двадцать пять тысяч в год...

– А костюмы?

– Костюмы отдельно. По субботам – ванна из шампанского.

– А что ж говорила вам во сне ваша жена?

– Она сказала, что это ее не касается. У нее дочь, райские сады, школа, у меня жизнь, дела. Согласна, Дуня? Сколько тебе платит вот этот? – И Прохор ткнул в бороду портрета.

– Милостивый государь, вы очень грубы! – Грудь женщины вздымалась, как волна, сердце злилось, но серые прекрасные глаза, похожие на милые глаза Анфисы, гладили Прохора по сердцу.

Авдотья Фоминишна, закинув ногу на ногу, сидела на козетке, курила, пускала дым колечками. Под взбитой челкой, за белым лбом шел бешеный торг; шла купля и продажа, прикидывалось «за» и «против», сводились барыши. Лакированный каблук набитой такими же мыслями туфельки нервно постукивал в ковер.

– Я жду ответа. – И Прохор бросил окурочек в недопитый кофе.

– Пожалуйте за ответом через три дня, – скрипнула туфелька, и красные пуговицы на пеньюаре улыбнулись.

Хозяйка нюхнула из граненого флакончика нашатырного спирту. Хозяйка с волнением переоценивала ценности. И все в ее мире, там, под этою рыжею челкой, за белым лбом, сорвалось со своих основ, сцепилось, перепуталось: полуседая борода портрета с черными лохмами сибиряка, молодая сила с немощью, величая Неву с Угрюм-рекой, блеск и шум столицы с мерцающими буднями провинции, реальные величины в настоящем с неведомыми иксами грядущего. Но Авдотья Фоминишна давно забыла математику; предложенного гостем уравнения ей сразу не решить.

– Нет, нет... Только не сейчас... Нет, нет, – звякали золотые обручи в ушах. Авдотья Фоминишна отрицательно потряхивала головой, и, чтоб не упустить бобра, она голубиным голосом проворковала: – Вы мне очень, очень нравитесь. Мне тоже ночью снился сладкий сон.

## IV

Тем временем Илья Сохатых собирался праздновать день своего рождения. Он разослал по знакомым двенадцать пригласительных карточек:

*«Свидетельствуя Вам и всему Вашему семейству отменное почтение, Илья Петрович Сохатых с супругой Февроньей Сидоровной приглашают Вас почтить их своим присутствием по случаю высокоторжественного дня рождения многоуважаемого Ильи Петровича Сохатых».*

У него имелись также и поздравительные карточки с «Рождеством Христовым», с «Новым годом», со «Светлым Христовым воскресением». Подобные же карточки существовали и в обиходе Громовых; Прохор сотнями рассылал их по деловым знакомым всей России. Но у Прохора карточки самые обыкновенные, дешевка. У Ильи же Петровича – с золотым обрезаем, с золотой короной наверху. Уж кто-кто, а Илья-то Сохатых правила высшего тона знает, у него всегда «парлеву франсе»<sup>1</sup> на языке.

На сей раз каверзный случай сыграл над ним трагическую шутку: завтра день рождения, а у него все лицо горой раздуло, и глаза, как у свиньи, закрылись. Всему виной дурак дедка Нил, колдун и чертознай. Ноги ноют, опухают, застарелый ревматизм, доктора нет, фельдшер помер – к кому за помощью идти?

– А вот, сударик, – сказал ему дедка Нил, – шагай, благословясь, на пасеку, растревожь веничком пчелу, а сам разуйся и портки долой. И наваятся на голо место пчелы, нажгали хуже некуда. И хворь как рукой.

И вот Сохатых в этакое-то время... Эх! Ведь он у хозяина на большом счету, ведь он доверенный в мануфактурной лавке, а там товару на сто тысяч, три приказчика, два мальчика. Послал Илья досматривать за торговлей свою супругу, сам весь в компрессах, а на стуле – дьякон Ферапонт.

– Я, знаете, отец дьякон, – повествует Илья, – обрадовался такому идиотскому рецепту, снял штаны с кальсонами да ну по ульям веником хвостать. Они и взвились... Я, исходя из теории, к ним задом норовлю да ноги подставляю, они на больные ноги два нуля внимания да как начали мне в морду стегать...

– Хо-хо-хо – в морду? – погромыхивал дьякон Ферапонт.

– Я, понимаете, от их шелчков прямо округовел, не знаю, куда по традиции бежать. Загнул на башку рубаху да во весь дух по лестнице домой. А там – двух девок да солдатку черт принес, девки как взвоят от голого изображения, а тут в хохот. А я уж и очами не могу взирать, оба глаза затекли... И как я не ослеп...

Дьякон раскатисто хохотал, пожирая пятый огурец, и все выпытывал у потерпевшего, не ослепли ль девки.

– Завтра день рождения... Но это сверх возможности. А я вот что, я сделаю в дне рождения опечатку на три дня.

Действительно, он чрез подручного разослал новые пригласительные билеты с припиской:

*«Вследствие позднейших данных церковной метрики, мой день рождения имеет бытность не в понедельник, а в четверг на той же неделе, т. е. на три дня позже».*

Что ж, три дня не срок, и Прохор Петрович явился за ответом. Вместо ответа был полуответ, тире иль новый знак вопроса: тот самый «сам», зримый облик которого запечатлел на

---

<sup>1</sup> От франц. *parlez-vous francais*. – Вы говорите по-французски? – Ред.

полотне искуснейший художник, задерживался на Урале дня на четыре, на пять. Она объявила это Прохору, припав пуховой грудью к его стальной груди, и притворно виноватые, но все же милые глаза ее просили снисхождения. Она сказала:

– Я постараюсь, чтоб время, проведенное в моем доме, показалось вам приятным.

Он ласково провел ладонью по ее густым рыжим волосам, закрыл и опять открыл ее глаза, всмотрелся в них, поцеловал:

– Анфиса? Нет, не Анфиса... Та совсем, совсем другая...

– Что с вами?

– Так. Прошло... – Он отмахнул назад свои черные вихры, и глубокий с хрипом вздох упал в наступившее молчание.

Был вечер. Высокая лампа под шелковым сиреневого цвета абажуром горела у стола. Воздух гостиной отдавал застоявшимся сигарным дымом. Прохор вяло спросил:

– У вас были мужчины?

– Да, вчера. Кой-кто из знакомых. Дулись в картишки. Я сейчас прикажу затопить камин...

На звонок пришла опрятно одетая горничная.

– Принесите фрукты и ликер. Затопите камин.

Прохор сидел с закрытыми глазами у стола. Мрачное настроение исподволь охватывало его, давно забытое навязчиво вспоминалось с резкой ясностью. Прохору становилось мучительно и страшно.

– Вам нездоровится?

– Нет... Так... Пьянствую все... Надо бросить.

– Подите прилягте до гостей... Будет князь Черный, граф Резвятников, еще кой-кто. Коммерции советник Буланов...

– Дайте немного коньяку.

Мадам позвонила, и резко позвонили у парадной. Вошли двое.

– Знакомьтесь... Мсье Громов, сибиряк. Лейтенант в отставке Чупрынников, статский советник Дорофеев.

Протянув руку черноусому, с брюшком, Чупрынникову, Прохор сказал:

– Я вас как будто где-то встречал...

– Не припомню, нет, – ответил тот басом и сел.

– Вы не поручик Приперентьев?

– Нимало... Ха-ха... Про такого не слыхал.

– Очень похожи, – сказал хмуро Прохор. – Дело в том, что его золотоносный участок по закону достался мне...

– Ах, вот как? Поздравляю... Ха-ха, – ответил лейтенант в отставке. – Ха-ха!.. Прекрасно. По закону, изволили сказать? Так-с.

Прохор внимательно наблюдал его, с внутренним содроганием вслушивался в его голос: «Что ж это, галлюцинация? Перестая узнавать людей? Чего доброго, какому-нибудь обер-кондуктору нос откушу? Брошу, брошу пить, брошу». – И, противореча самому себе, он выпил стопку коньяку и потянулся к вазе за цукатами.

Лейтенант в отставке Чупрынников сидел в тени и тоже наблюдал Прохора Петровича. Статский советник Дорофеев – коротконогий, квадратный, апоплексического сложения – открыл рояль, взял несколько аккордов, затем подтянул вверх рукава темно-зеленой визитки и заиграл одну из грустных мелодий Грига.

Пришли еще двое: высокий пожилой актер драмы и вертлявая, в коротеньком, голого фасона, платьице, мадемуазель Лулу. Эта пара сразу внесла смех и общее оживление. Певица затараторила так быстро, как будто у нее четыре проворных языка:

– Послушайте, послушайте, какой скандал. Любовник прима-балерины Зизи князь Ш. влепил затрещину ее ухажеру, милому мальчику, кадету Коко. И прелестные получены бананы, да, да, у Елисеева. У бельгийского посла вчера оценилась сука – дог. Роды были трудные, акушеру пришлось накладывать щипцы, ха-ха, смешно... собака и... щипцы. Тенор Панов на арии «милые женщины» дал петуха, галерка свистала. Сенатору Б. в Английском клубе подменили шинель в бобрах на какой-то драный архалук.

– Ах, сибиряк? Очень, очень лестно... Вы такой же холодный, как и ваша страна?

– Да, такой же.

– Аяй, как это нехорошо. – И Лулу, как зачарованная, влипла горящим взором в бриллиант на мизинце Прохора.

– Что же, перекинемся? – с нетерпением проговорил лейтенант в отставке и прищурился в глаза хозяйки.

– Как, дорогие друзья? – спросила хозяйка. – Может быть, сначала чай?

– И то и другое... Господин Громов, вы, разумеется, играете?

– Конечно же, конечно! – ответил за него хор голосов, жадных и завистливых.

– Да, играю... – проговорил Прохор, глаза его загорелись злостью. – Мне хотелось бы сразиться с господином, с господином... – И он ткнул пальцем в черные лейтенантские усы. – Простите, с вами...

– Принимаю, принимаю, – ответили усы, радостно подкашлянув.

– Авось мне удастся оттягать у вас золотиносный участок... Вы ж сами предлагали мне эту комбинацию... Впрочем, участок и без того мой.

Левый лейтенантский ус опустился вниз, правый полез кверху, наглые глаза открывались шире, шире:

– Что вы хотите этим, милостивый государь, сказать? Господа, среди вас нет врача?

Вместо врача вошел, поводя плечами, высокий старик с надвое раскинутой седой бородой; его тугой живот весь в золотых цепях, висюльках.

– Добрый вечер, добрый вечер, – круглым старчески блеклым голосом приветствовал он на ходу гостей.

Хозяйка встала ему навстречу:

– Степан Степанович Буланов, коммерции советник. А это мой новый друг – сибиряк... Господа, прошу в столовую.

Стол богато сервирован и уставлен закусками и винами. На отдельном, с зеркальной крышкой, столике фасонистый самовар пускал пары.

– Самоварчик, дорогой мой, – блаженно закатил глаза Степан Степанович, купец. – Шумит, фырчит... Хозяюшка, а липовый медок есть к чайку? Спасибо... Да, господа, люблю все русское, все самобытное... Ведь я по убеждениям славянофил... Аксаков, Самарин, Хомяков... Да, да, кой-что и мы читали в дни юности... Ну-с, где прикажете садиться? – Купец подобрал полы сюртука и сел возле хозяйки в кресло.

Звонок телефона. Хозяйка вышла и тотчас же вернулась.

– Прохор Петрович, вас просят к телефону.

Телефон в спальне. Она плотно притворила за собою дверь, положила оголенные руки на плечи Прохора:

– Милый, дорогой, радость моя... Никто тебе не звонил... Прощу тебя, не играй по крупной.

– Я вовсе не буду играть.

– Не будешь? Почему? – И в ее прекрасных глазах промелькнула тревога. – Впрочем, да, ты прав. Тебе в карты не везет. Тебе в любви везет... – Она надолго, как спрут, впиалась в его губы и, оправляя на ходу волосы, вышла.

Чай разливала горничная. Лулу хохотала, тараторила сразу с тремя гостями, чокалась, хлопала рюмку за рюмкой рябиновку, коньяк, мадеру. Купец намазал свежий огурчик медом и хрустел.

Подошли еще два франта. Гостей собралась целая застольица. И среди них, в розовом шелковом платье с искусственными незабудками у левого плеча, очаровательная Наденька. Самого пристава не было, он по делам в отъезде.

Ну что ж, причина уважительная, хотя очень жаль... И новорожденный Илья Петрович предлагает тост:

– За отечественного героя, знаменитого Федора Степаныча господина отдельного пристава Амбреева и вообще за русский либерализм... Ура!!

Отец Александр отсутствовал, поэтому дьякон Ферапонт, не щадя ушей собравшихся, рявкнул «ура» так, что все восторженно захохотали.

Ужин только начался. Пред каждым гостем – меню, отпечатанное в канцелярии на ремингтоне и с нарисованной пером Ильи Петровича короной.

Первым блюдом – три сорта пирогов: с капустой, с осетром и с яйцами. Вторым блюдом – пельмени а-ля Громов. Третьим блюдом – дикие утки по-бельгийски. Четвертым – какое-то крошево из оленины, сохатины, рябчиков, под названием «мясной пломбир а-ля Илья Сохатых». Потом шли кисели из облепихи, ежевики, клюквы.

– Господа! Прошу великодушно извинить, – кричал подвыпивший новорожденный. – Мороженое, как полагается в порядочных домах, теоретически не вышло, за отсутствием снега. Пожалуйста на ужин в Рождество Христово.

Дьякон подарил новорожденному собственной поковки для собаки цепь. Наденька – бисером вышитый кисет «на память». Нина Яковлевна прислала кожаный портфель с серебряной монограммой, увенчанной короной (хозяйка знала вкусы подчиненного), в портфеле поздравительная записка: «Очень извиняюсь, что лично не могу, хворает Верочка», а в записке сто рублей. Анна Иннокентьевна – три пары теплых, собственноручно связанных носков, а супруга – теплый набрюшник из заячьего меха. Илья Петрович все подарки разложил на видном месте, в переднем углу под образами.

Но самый главный дар был от насмешника-студента Образцова. Талантливый юноша, зная, что Илья Петрович завзятый любитель всяких «монстров», торжественно преподнес хозяину стариннейшую кожаную денгу с надписью древнеславянской вязью: «О-враам адна капек». Александр Иванович Образцов собственноручно изготовил эту редкость из ременного ушка ветхой гармошки, обкорнав его ножницами и с краев залохматив молотком. Но это ничуть не помешало ему с трогательным притворством вручить дар Илье Петровичу Сохатых.

– Монета стоит больших денег. Ей около семи тысяч лет. Времен библейского патриарха Авраама. Но она обошлась мне дешево: я выкрал ее в нумизматическом отделе Эрмитажа.

Илья Петрович открыл рот, прослезился, трижды поцеловал старый кожаный оборвыш, затем взволнованного Сашу Образцова и сказал:

– Господа! Вот дар, достойный именинника...

Вскоре после торжества каверзная проделка студента Образцова широко узналась. Огорченный Илья Сохатых получил среди знакомых кличку «О-враам».

На алюминиевой сковородке, заменяющей серебряный поднос, пачка поздравительных телеграмм и писем из больших сел, двух уездных городов и от Прохора Громова с Иннокентием Филатычем из Петербурга.

В конце трапезы, когда ударит в низкий потолок первая пробка дешевенькой «шипучки», Илья Петрович, оседлав вздернутый нос пенсне, торжественно огласит эти приветствия в честь собственной своей славы.

Но, к сведению любезного читателя и по величайшему секрету от Ильи Петровича, автор в совершенно доверительном порядке должен заявить, что все эти приветствия были заблаговременно изготовлены самим Ильей Петровичем Сохатых на разного достоинства бумаге и на телеграфных бланках, когда-то прихваченных у знакомого телеграфиста. Немало потрудился новорожденный над изысканностью и остротой стиля поздравлений и над перепиской их с черновиков левою рукою, дабы не узнан был его собственный кудрявый почерк.

Впрочем, среди этого тщеславного хлама было одно натуральное письмо, облитое солеными слезами. Писала вдова Фекла из села Медведева, где проводил свою первую молодость Илья Петрович. И просила в том письме вдова Фекла хоть сколько-нибудь денег на воспитание приبلудного от Ильи Сохатых сына Никанора. И страдала в том горячем письме Фекла – в случае отказа – судом.

На торжественной трапезе это письмо оглашено, конечно, не было. Но мы слишком забежали вперед, до конца ужина еще далече – лишь подан румяный пирог с яйцами, – мы еще как следует не ознакомились с гостями, не слышали их разговоров-разговорчиков.

Присутствовали два приказчика: Пьянов и Полупьянов (между прочим, оба великие трезвенники и оба с рыжими бородками), еще громовская горничная Настя в вышедшем из моды, но великолепном платье «барыни». Она и вела себя соответственно, как барыня: на все фыркала, всех вслух критиковала, поджимала губки, разрезала пирог, картинно оттопыривая мизинчики, а когда сосед Насти, дьякон Ферапонт, нечаянно щекотнул ее в бочок, она ойкнула, лягнулась под столом, сказала:

– Пардон, пожалуйста... Не распространяйте свои кутейницкие руки...

Два великолепных жандарма – Пряткин и Оглядкин – сидели рядом возле узкого конца стола. Они, подобно Диоскурам – копия один с другого, как двойники; рыжие усы их по-одинаковому закручены колечками, синие мундиры с аксельбантами – с иголки. Илья Петрович гордится их присутствием, но в то же время и побаивается их, стараясь высказывать самые патриотические речи:

– Господа унтер-офицеры! Корректно или абстрактно будет провозгласить тост за драгоценное здоровье их императорских величеств?

– Вполне возможно. Ура!.. Ура-ура!!

Между жандармами и горничной Настей – лакей мистера Кука, придурковатый длинноногий Иван. Он во фраке и белых нитяных перчатках; они мешают ему кушать, но он решил блистать во всем параде. Кокетничает с горничной, видимо, влюблен в нее, услуживает ей, вздыхает и закатывает глаза под низкий со вдавленными висками лоб.

– Это что за ужин... Это разве ужин? – брюзжит он в тон соседке. – Вот мы с мистером Куком устроим бал, чертям будет тошно...

– Пожалуйста, не задавайтесь, – улыбается шустрая, черненькая Настя. – Что такое ваш мистер Кук?... Мистер, мистер, а сам голый вокруг дома бегаёт.

– Извиняюсь, это в видах здоровья.

– Вот мы устроим у Громовых бал, это да. Ай, не жмите ногу, ну вас!..

– А почему же ее не жать, раз она под столом? Я, может быть, сплю и вижу вас во сне совсем голенькой.

– Глупости какие!.. Воображение. Меня даже сам Прохор Петрович только два раза без ничего видел...

Горбатый, перебитый в драке нос Ивана сразу отсырел.

– Как, в каких смыслах без ничего? – страшно задышал он и вытер нос перчаткой.

– А это уж не ваше дело. Хи-хи-хи!.. Разумеется, нечаянно...

– Исплутатор! – И ревнивый подвыпивший Иван хватил кулаком в тарелку.

Еще среди гостей обращали на себя внимание своей цветущей свежестью Стешенька и Груня, любовницы Громова на вторых ролях. Одна постарше, другая помоложе; эта попышней,



а та посухошавей; эта с челкой и в кудерышках, а та с гладкой прической, как монашка. Обе сидят рядом, обе в жизни дружны, обе попросту, без всяких воздыханий делят ласки повелителя, обе имеют по маленькому домику под железной крышей, обе гадают в карты, для кого Прохор Петрович ставит еще точь-в-точь таких же два домочка, обе по-одинаковому злобно ненавидимы Наденькой, любовницей пристава. Когда появились эти девушки, она сразу надула губы и хотела уйти домой. Новорожденному больших трудов стоило уговорить ее, новорожденный страстно был влюблен и в Стешеньку и в Груню. За эту неразделенную, но часто высказываемую вслух любовь свою он всякий раз получал от собственной властной супруги трепку; тогда кудри его летели, как шерсть дерущихся котов.

Были еще гости: механик лесопилки, почтовый чиновник с супругой и тремя детьми, из коих один грудной, десятник Игнатьев и другие.

Студент Александр Иванович Образцов сидел рядом с семипудовой Февроньей Сидоровной, хозяйкой, увешанной золотыми брошками, серьгами, кольцами, часами и браслетами. Она, назло мужу, всячески ухаживает за студентом, а студент за нею.

– Кушайте икорки, подденьте на вилочку рыжичков... Собственной отварки. Выпейте наливочки... Ах, заходите к нам почаще...

– Благодарю вас... Да, геология – вещь сложная. Как я уже вам сказал, петрография есть наука о камнях.

С юным пылом знатока он рассказывает ей про осадочные и магматические породы, про силурийскую и девонскую системы, о природе золота, а сам все плотней придвигается к сдобной, как слоеный пирог, хозяйке. Та, ничего не понимая в геологии, с женским упоением ловит сладкие звуки его голоса, глядит ему в рот и нарочно громко, чтоб слышал муж, хвалит своего молодого соседа. Но муж глух, не любопытен, муж перестреливается взорами со Стешенькой и Груней.

– Представьте себе – золото... Это ж чудо! Оно самый распространенный по земному шару металл, но в малых дозах. А вы знаете, что самый большой самородок, весом в шесть пудов, был найден в Австралии? А вы знаете, на вас нанизано столько этого драгоценного металла, что можно бы на вашей груди открыть прииск...

– Ха-ха-ха!.. Какие вы, право... Очень красивые... – и на ухо: – Хотите, подарю колечко? Публика уже изрядно напилась, когда подали в трех мисках горячие пельмени.

– Господа поздравители! – встал, постучал вилкой о тарелку Илья Петрович, и запухшие глазки его широко открылись. – Во всех менях, которые лежат перед вами, как в аристократии, пельмени названы мною а-ля Громов, в честь моего глубокочтимого патрона Прохора Петровича.

– Исплутатор! – крикнул лакей Иван. – Голых наяву видит!.. Девушков!..

– Засохни!.. Вредно, – предупредительно пригрозили ему жандармы.

– Мы с Прохором Петровичем обоюдно ознакомлены, когда они были еще прекрасный выюнош без бородки, в бытность их папаши, Петра Данилыча, который благодаря Бога в сумасшедшем доме...

– Сплутаторы!.. – еще громче заорал лакей.

– Молчи, дурак! – топнул пьяный Илья Петрович. – Сначала привыкни произносить. Такого русского понятия нет, а есть ек-сплу... стой, стой!.. ек-спла...

– Таторы, – подсказал студент и, воспылав юной страстью, погладил под столом мясистую коленку задрожавшей всеми телесами ошастливленной хозяйки.

– Господа поздравители! Прохор Громов – это ого-го! Это мериканец из русских подданных...

– Сплутатор! – вскочил Иван и бросил свою тарелку на пол. – Ужо мы с мистером Куком... Надо бунт бунтить! Бей! Ломай! – И он ударил об пол тарелку жандарма Пряткина.

Поднялся шум. Ивану жандармы старались зажать рот. Иван мотал головой, вопил:

– Бастуй, ребята!..

И сразу хохот: дьякон Ферапонт, схватив Ивана за шиворот, молча пронес его в вытянутой руке до выхода, выбросил на улицу, вернулся, швырнул обрывки фрака к печке и так же молча сел.

Тут брякнул в окно камень, и площадная ругань густо ввалилась в разбитое стекло. Через мгновение градом посыпались стекла от удара колом в раму. Женщины, как блохи, с визгом повскакали с мест.

Через все лицо Прохора Петровича, от искривившихся губ к мутным, неживым глазам, прокатилась судорога.

– Ваша карта бита...

Где-то там, в меркнувшем сознании, свирепел хохот мадемуазель Лулу и дребезжал бряк пьяного рояля. Волны табачного дыма густо застилали воздух...

Прохор достал последние двадцать новых сторублевок, бросил на стол, сказал:

– Ва-банк!

И танцующие пары, как куклы, проплывали, вихрясь, мимо картежного столика – кавалеры, дамы, валеты, короли, тузы, дамы, дамы... Так много женщин!.. Откуда они взялись? Легкокрылая Лулу в паре с франтом. Она вся в вихре страсти, лицо ее вдоль раскололось пополам: половина в буйном хохоте, половина исказилась в страшном безмолвном вопле. От потолка по диагонали прямо к Прохору двигались скорбные глаза Авдотьи Фоминишны; они улыбались всем и никому, они взмахнули ресницами, исчезли.

Против Прохора похрустывал новою колодою карт отставной лейтенант в ермолке и сдержанно, однако ехидно ухмылялся:

– Ну-с? Вы изволили сказать: ва-банк.

Прохор прекрасно теперь знал, что это не Чупрынников перед ним, а ловко загримированный поручик Приперентьев.

– Итак, ва-банк?

– Да, поручик.

– Нет, лейтенант в отставке, если угодно...

– Приперентьев?

– Чупрынников, Чупрынников.

– Ах да, простите, – сказал Прохор сквозь стиснутые зубы. – Того мерзавца, Приперентьева, часто бьют по башке подсвечником. Он шулер.

– Не знаю-с, не знаю-с.

– Дуня! Авдотья Фоминишна! – крикнул захмелевший Прохор. – Не пускай к себе этого нахала Приперентьева; он мерзавец, он шулер... Моховая, тридцать два. Встречу – убью его... Он на содержании у своей хозяйки, немки... Амалии Карловны...

И все засмеялись.

– Милый сибиряк, – как звук виолончели, мягко молвила Авдотья Фоминишна и положила ему белую руку на плечо. – Баста играть.

– Ваша карта бита.

Прохор встал или не встал – не знает. Прохор двигался по комнате, ощущал свое тело, крепко пристукивал каблуками в пол, плыл или плясал, – не понимает, мысль отсутствовала, соображение одрябло, чековая книжка, чеки, валеты, дамы, короли, рука пишет твердо, стол тверд, четырехуголен, на мизинце бриллиант, в уши, как по маслу, змейками вползают звучащие с нуля цифры.

– Благодарю вас. Ну-с?

– Ва-банк!..

Ночь. Часы отбрякали сто раз. И грянула пушка – пробкой в потолок.

– За процветание Сибири! За мой прииск там, в тайге, – гнилозубо хихикают усы в ермолке.

– Врете, мерзавцы! Вам не отравить меня...

Часы пробили сто двадцать раз. Грянула вторая пушка.

Пропел петух. Взбрыхнула на ветер собачонка. Ночь. Проходя мимо дома Наденьки, дьякон Ферапонт набрал полные легкие черной, как сажа, тьмы и страшно рявкнул по-медвежьи. Привязанная за столб верховая лошадь стражника взвилась на дыбы, всхрапнула и, выворотив столб, помчалась с ним, взягивая задом, в сонную тайгу, в гости к настоящему медведю.

## V

Прохор проснулся в час дня с непереносимой головной болью. Он подвигал бровями – глаза ломило, обессиливующее недомогание опутывало все тело тугими арканами. В сознании все вчерашнее смешалось в кашу, помутневшая память ничего не могла восстановить – сплошной какой-то бред. Он не помнил, как попал сюда, на этот пуховик под балдахином, в соседство к бородатому портрету на стене.

– Что вы со мной сделали? Я болен.

Сидевшая возле него Авдотья Фоминишна, сбросив пепел с папиросы прямо на ковер, недружелюбно ответила ему:

– Вы вели себя вчера непозволительно. Вы забылись, вообразили, что вы в тайге, а не в приличном доме. Как же вы осмелились звать меня в свой дикий край, вы, вы, с характером и нравом бандита? Я удивляюсь вам. Я очень, очень скомпрометирована вами в глазах моих друзей.

– Кто ваши друзья? Шулера они, налетчики, или князья, или и то и другое вместе?.. Я что-то помню смутное такое... Впрочем, я все помню ясно. Дайте мой пиджак. Спасибо... Ага, денег нет? Прекрасно! Чековая книжка, где чековая книжка? Так, чек вырезан... Сколько я подписал? Сколько подписал?! Ах, вы не помните, не помните?! Прекрасно!! Все будет доложено прокурору. Вы оплатитесь!

Поток колючих слов он выпалил в запальчивости, переходящей в гнев. Она встала, отодвинула величественную свою фигуру к стене с портретом и гордо откинула отягченную копной рыжих волос голову. Черты ее лица утратили приятную гармонию, лицо стало напыщенно-надменно, в рябых, не скрытых притираниями веснушках, милые Анфисины глаза сделались глазами хищной рыси.

– Прежде чем вы наябедничаєте прокурору, к вам явятся секунданты оскорбленного князя Б., которого вы осмелились ударить, и... о, поверьте мне, поверьте, вы будете убиты на дуэли, как заяц! – Она уперлась затылком в стену и нахально захохотала, раздувая ноздри. – Вам здесь не Сибирь... Вы очень, очень распоясались...

Прохор задрожал от негодования:

– Если это было бы в Сибири, вы качались бы на первой попавшейся сосне. А от вашего князя Б. остались бы одни усы. Выйдите отсюда! Я одеваюсь.

Он сорвался с кровати – она ушла. Одеваясь, он обдумывал план действия. Но в большую голову, которая раскалывалась и гудела, не вбрeдали мысли: сплошной поток обжигающего пламени гулял в душе. Оделся и, не простившись, вышел. Через четверть часа вернулся:

– Позовите барыню!

Он приблизился к ней вплотную – там, у нее в будуаре, – протянул ладонями вниз кисти рук.

– Где мой перстень?

– Я не знаю. – И рябые веснушки на ее лице от волнения потемнели.

– Вы знаете!

– Нет, не знаю.

Тогда он с каким-то сладострастием хлестнул ее по щеке ладонью. Она схватилась за щеку, заплакала и завизжала, как кошка, которой наступили каблукoм на хвост.

Вдруг поясной портрет ожил, выросли ноги, надулось брюхо, настeжь открылся зубатый рот.

– Этта што?.. Разбой?

Бегемотом вдвинулся портрет в дверь будуара, и черная, с проседью, бородача его распустилась веером.

Авдотья Фоминишна вскрикнула в истерике:

– Митя! Спаси меня! – и упала замертво.

– Вон!! – стукнул в пол палкой, взревел портрет, и два здоровецких кулака, встряхнулись под носом Прохора. – Вон, разбойник! Вон, налетчик! Застрелю!.. Эй, кто-нибудь!..

Прохор ударил сапогом в бархатное брюхо, купец ляпнулся пластом, а простоволосый, без шляпы, Прохор, пробежав квартал, упал в пролетку, крикнул:

– Мариинская гостиница, ну! Пятерку!

– Геп-геп! – помчался лихач.

Жандарм Пряткин посетил влипшего в неприятности лакея. Иван стоял перед жандармом на коленях, целовал сапоги его, плакал. Жандарм страдал. Иван сбегал «до ветру», вернулся, достал из сундука десять серебряных рублей и коробку украденных у мистера Кука сигар. Жандарм ушел.

Нина Яковлевна совместно с отцом Александром вот уже вторую неделю – от трех до пяти дня – делает обход рабочих жилищ. Всюду одно и то же: грязь, бедность, злоба на хозяев, на себя, на жизнь.

Жалобы, разговоры, душевный мрак, безвыходность потрясли Нину. Она за это время осунулась, потеряла аппетит и крепкий сон. Сердце – как посыпанное солью, мысли – холодные и черные. Молитва – дребезг красивых слов; она валится из уст к ногам, бессильная, бесстрастная.

Старик Ермил жалуется Нине:

– Все бы ничего, все бы ладно. Мы привычны ко всему. Дело в том, харч шибко плох – тухлятинка да прель. И, слышь, дорог шибко. А заработок – тьфу!

Нина – глаза в землю – согласно кивает головой, отец Александр преподает деду благословение, назидательно глаголет:

– Терпи, старец праведный, терпи... Господь терпел и нам велел.

– Терплю, батюшка, стисня зубы терплю... А ты, слышь, помолись за нас, за грешных.

– Молюсь, старец праведный, Ермил, молюсь.

В бараке многосемейный слесарь Пров возвышает голос свой до крика:

– Нина Яковлевна, хозяйка, посуди сама! Работы наваливают выше головы: десять, двенадцать, пятнадцать часов бьешься – и весь мокрый. Ну, ладно... Мы работы не боимся, я на работу – прямо скажу – сердит. А что мы получаем? Грош! Ну, ладно, надорву силы, составлюсь, куда меня? Вон? Ага! Ты с хозяином жиреешь, а я что? А дети малые, а старуха? Ага! Вот ты встань на мое место – закашляешь.

Нина мнетя, жметя: одолевает досадный стыд. Слесарь Пров ласково, но сильно кладет ей руку на плечо:

– Ты, впрочем сказать, баба ладная. Ты правильная женщина. Нешто мы не видим, не чувствуем? Гараська! Вставай, сукин ты сын, на колени, кланяйся барыне в ножки! Кто тебе, сукин сын, сапоги-то подарил? А? А кто моей Марфутке шаль подарил? А? А кто мою бабу лекарствами пользовал? А? Все ты жа, ты жа, Нина Яковлевна!

У Прова через втянутые щеки к усам – ручьями признательные слезы; он громко сморкается прямо на пол, садится к печке и дрожит. Нина тоже не может удержаться от нервных всхлипов.

– Ну, что мне делать, что мне делать? – в искреннем отчаянии ломает Нина Яковлевна руки. – Пров, ты умный, научи...

Слесарь отдувается всей грудью, беспомощно сопит. Нина ждет ответа.

– Я, может, и умный, да темный, – говорит он, сгибаясь вдвое и глядя в пол. – Ты ученая, ты на горе, у тебя все дела супруга твоего на виду. Только мы чуем – он над тобой, а не ты над ним. А ты встань над ним! Твои капиталы в деле есть? Есть. Вынь их, отколишь от него,

начинай свое дело небольшое, мы все к тебе, все до одного. Пускай-ка он попляшет... Уж ты прости, Нина Яковлевна, барыня, а мы дурацким своим умом с товарищами со своими вот этак думаем...

– Пров, милый, дорогой, – прижала Нина обе руки к сердцу. – Говорю тебе, а ты передай своим товарищам: я приложу все силы к тому, чтоб вам, рабочим, жилось лучше. Я буду требовать, буду воевать с мужем, пока хватит сил... Прощай, Пров!

Отец Александр выдал из походной кассы на семейство Прова двадцать пять рублей, благословил всех и скрылся вслед за Ниной.

Так проходили дни, так сменяли одна другую тяжелые для Нины ночи. Лежа в постели в белой своей спальне, рядом с детской, где пятилетняя Верочка, Нина Яковлевна напрягала мысль, искала выходов, принуждала себя делать так, как повелевал Христос.

«Раздай богатство, возьми крест свой и иди за мной». Ясно, просто, но для сил человеческих неисполнимо. Взять крест свой, то есть – принять на изнеженные плечи грядущие страдания и голой, нищей идти в иной мир, мир самоотвержения, подвига, деятельной любви.

– Нет, нет. Это выше наших сил...

Но далекий голос доносится до сердца. «Могий вместити, да вместит...» Да, да, это Христос сказал: «Если можешь так сделать – делай».

А она вот не может вместить, не может отречься от пышной жизни, от славы, от богатства, не может уйти из этого чувственного, полного сладких соблазнов мира в мир иной, в сплошной подвиг, в стремление к пакибытию, в существование которого она, в сущности, и не так-то уж крепко верит.

– Верю, верю! Хочу верить, Господи!..

Но монгольское лицо Протасова, язвительно улыбаясь умными черными глазами, медленно проносит себя из тьмы в тьму, и сердце Нины мрет.

И нет Христа, и нет белой спальни. И нет Протасова. Только его мысль, как майский дождь, насквозь пронизывает ее воспаленное сознание и сердце.

Проходор спал как убитый до вечера. Голова все еще шальная, деревянная. Пили чай в номере, из самовара. Проходор во всем признался старикам.

– Ты, Филатыч, справился, сколько мерзавцы по чеку взяли?

– Пятнадцать тыщ ровно, – жалеющим, с жадничкой, голосом сказал старик.

– Мне денег не жаль, плевать. Деньги – сор.

– Ничего не помнишь? – спросил тесть, поддевая из баночки варенье.

– Ничего не помню... Так кой-что... Может быть, со временем и...

– Эх-хе, – ядовито вздохнул Иннокентий Филатыч. – Жаль кулаков, а надо бить дураков...

– Кого?

– Тебя.

Проходор не обиделся.

– Это тебя, парень, куколом опоили, – сказал тесть.

– Им, им! – подхватил Иннокентий Филатыч. – Нешто не знаешь? Травка такая увечная в хлебе растет. У нас она зовется – бешеные огурцы. Память отбивает.

Решили скандала не подымать, все предать забвению, скорей кончить дела, недельку покрутить, попьанствовать, да и домой.

Не хотелось Якову Назарычу вылезать из удобного халата, но Иннокентий Филатыч все-таки принудил, и все трое пошли осматривать город, не торопясь и в трезвом виде.

С Троицкого моста любовались осенним закатом. Солнце, растопырив огненные перья, садилось за Биржей, как жар-птица в пышную постель. Опаловый, светящийся тон неба, постепенно бледнея, мерк в зените. Врезываясь в разгоравшийся закат, темнели силуэты фабрик.



Черный дым, клубясь, густо валил из труб, мрачным трауром оттеняя блеск небес. Группа кудластых облаков угрюмого цвета нейтральтина грустила над Биржей. Весь небосклон на западе стал тревожным. Но вот солнце скрылось, по горизонту, меж потемневшими громадами домов разлитым морем легла ослепительная лента пламени – и все в небе загорелось. Черные кивера дыма оделись алыми потоками; хмурые цвета нейтральтина, облака ярко подрумянились с боков, весело надули щеки. Зеркальные стекла задумчивых дворцов посеребрились белым светом. Вдвинутая в вечные граниты широкая Нева дробно отразила в своих сизых водах небесное пожарище. Опухшее от пьянства серо-желтое лицо Прохора оживилось. Новые зубы в удивленно разинутом рту Иннокентия Филатыча играли, как жемчуг.

Но вот, постепенно погасая, все слиняло. Обманщик-живописец сорвал с неба свои линючие краски чародея, посадил их снова на палитру, надел, чтоб не схватить насморка, галоши номер двадцать пять и, плотно закутавшись в серый плащ сумерек, с гремящим хохотом исчез в преднощных сизых даях. Гремели трамваи, гремели по мостовым железные колеса ломовых. «Геп-геп!» – покрикивал лихач, вихрем пронося двух хохочущих красавиц.

Ловко одураченные мишурной красотой заката, друзья пошли на «Поплавок», подкрепились ушкой из живых стерлядок, выпили «на размер души» две бутылки зверобою и, веселенькие, направились в театр.

Начиналось третье действие. Сибиряки – в первом ряду партера. Иннокентий Филатыч, как петух возле зерна, часто поклевывал носом. Артисты играли с подъемом, хорошо. Прохору понравилась высокая, со стройными ногами «жрица огня», Якову Назарычу – все двенадцать танцовщиц; он усердно молил судьбу, чтоб хотя бы у двух, у трех лопнуло трико. Он не отрывался от бинокля.

Но вот – «ночь спящих». Под мутным светом луны из-за кулис актеры, погруженные в волшебный сон, разметались по полу в живописных позах.

– Спящие, проснитесь! – звонко на весь театр возвещает прекрасная фея с золотыми крылышками. Спящие не просыпаются. В зале раздается мерный храп Иннокентия Филатыча.

– Спящие, проснитесь! – вновь приказывает фея.

Храп крепче. Прохор и Яков Назарыч трясут старика за плечи. Фея, суфлер и все «спящие» на сцене кусают губы, чтоб не захохотать, в первых рядах партера сдержанный пересмех и ропот.

– Спящие, проснитесь! – злобно кричит фея и взмахивает магическим жезлом.

Иннокентий Филатыч вдруг открыл глаза, чихнул и сам себя поздравил:

– Будьте здоровы... Что-с?

Вплоть до пятого ряда партер грохнул хохотом.

Так, или примерно так, посещали они зрелища.

## VI

Прошло три дня. Вечер. Прохор в номере один; звон в ушах, тоска, – нездоровится. Свещает свечу, рассматривает преискусные машиностроительные заводы. Слуга подал на подносе два письма.

*«Я по-настоящему начинаю открывать глаза на условия жизни наших рабочих, достигающих тебе и мне богатство. Условия эти поистине ужасны. И мы с тобой одинаково бесчеловечны и одинаково повинны в этом. Лишь первые два года нашей жизни ты был достаточно внимателен ко мне и к своим рабочим. А потом тебя словно кто-то подменил: ты стал жесток, упрям и алчен.*

*Прохор, куда ты идешь и в чем у тебя цель жизни? Спроси свою совесть, пока она не совсем заснула. А ежели ты усыпил ее проклятой наркотической фразой: «Мне все дозволено», – бойся своей совести, когда она проснется. Прохор, ты молод, подумай над всем этим и, пока не поздно, обрадуй меня. Поверь, отныне вся жизнь моя в печали».*

Сердце Прохора перевернулось. Он протер глаза, с шумом выдохнул воздух и вновь перечитал письмо. Сидел он и думал, подперев голову рукой. В раздражении побарабанил по столу пальцами: «Дура баба», – и вскрыл пакет Протасова.

Двухнедельный отчет, цифры, сметы, предположения. Разумно, толково, правильно. В конце приписка:

*«Рабочие высказывают открытое недовольство тяжелыми условиями труда и слишком низкой заработной платой. Ожидаю Ваших экстренных распоряжений по пунктам улучшения общих условий жизни, изложенным ниже. Неисполнение или даже задержка в исполнении этих пунктов может повлечь за собой дезорганизацию работ, а следовательно, и подрыв всего дела.*

*Пункт первый...»*

Прохор внимательно просмотрел все пункты, и глаза его налились желчью. Он порывисто встал и несколько раз прошелся по комнате, ускоряя шаг.

– Ха-ха, ладно, ладно... Посмотрим... Сговорились, сволочи! Ха-ха, отлично.

Позвонил:

– Отнесите сейчас же телеграмму. Срочную.

Когда писал, губы его кривились, брови сдвинулись к переносице, лоб покрылся потом.

*«Предоставляю вам право немедленно уволить до 500 человек рабочих. Точка. По соглашению с приставом мерами полиции выселить их за пределы резиденции. Точка. Мной ведутся переговоры по найму партии рабочих на Урале. Точка. О принятых вами мерах срочно донесите. Громов».*

Отослав телеграмму, облегченно передохнул. Но волнение в груди не улеглось. За последнее время перестал нравиться ему Протасов: мудрит, заигрывает с рабочими, сбивает с толку Нину. Пусть, дьявол, умоется этой телеграммой, пусть. Прохор оперся спиной о мрамор холодного камина, и взбудораженная мысль его самовольно сделала скачок назад.

Перед ним зашелестели страницы записной книжки – там, на Угрюм-реке, в дни вольной юности. Истлевшие, давным-давно вырванные из сердца, забытые, они вновь восстали из времен.

Жаркий, окутанный дымом лесных пожаров день. Политические ссыльные тянут вверх по реке шитик. На шитике, на горе мягких подушек, под зонтиком заплывший жиром прощелыга-торгаш Аганес Агабабыч.

– Я бы на вашем месте утопил этого бегемота, что грабит мужиков, – говорит ссыльным Прохор. – Вот я тоже буду богат, но поведу дело иначе. Я не позволю себе эксплуатировать народ...

Так думал и говорил Прохор-юноша. Но Прохор-муж, Прохор-делец громко теперь хохочет над своими прежними словами.

За окном темно. Он задернул драпировки. Старинные куранты на камине мелодично отзванивают восемь. В дверь стук.

– Да, да.

Вошел в серой шинели военный, с бравой, надвое расчесанной бородой.

«Ага, секундانت... Дуэль», – мелькнуло в мыслях Прохора.

– Не вы ли господин Громов из Сибири? Честь имею... генерал Петухов, адъютант градоначальника, – звякнули серебряные шпоры. – Его превосходительство приглашает вас пожаловать к нему для некоторых переговоров.

«Пропал, донесли», – подумал Прохор. Но не испугался.

– К вашим услугам.

Вышли. Крытая карета. В ней два жандарма. Спустили шторы. Поехали.

– Вы не знаете, по какому делу? – спросил Прохор сидевшего рядом с ним генерала Петухова. – Я недавно тут... перенес... одну неприятность...

– Нет, нет, не беспокойтесь... Разговор будет носить чисто деловой характер. Впрочем, я вас должен предупредить... Давайте завернем ко мне и там обсудим.

– Очень рад, – сказал Прохор и шепнул генералу в ухо: – Я за благодарностью не постою...

Минут через десять лошади остановились. Как колодец – двор. Темная, с кошачьим смрадом лестница. Пятый этаж. Небольшой зал, похожий на деловую, коммерческую контору. На стене – поясной портрет Николая II. Четыре письменных стола. Один побольше, понарядней. Под потолком зажженная аляповатая люстра.

– Прошу! – Генерал уселся за большой письменный стол. Прохора усадил напротив себя, спиной к входным дверям, возле которых вытянувшись – два жандарма.

Прохор в замешательстве: не знает, по какому делу он здесь и как ему держаться.

– Ну-с, так-с... – Генерал поправляет очки на горбатом носу, чуть касается бороды кончиками пальцев и в упор смотрит по-серьезному на Прохора.

Прохор ждет неминуемой для себя грозы. «Донесли, донесли, влопался, голубчик», – выбрякивает разбитое пьянством сердце. В мыслях Прохора быстро мелькают тени Авдотьи Фоминышны, ее подруги баронессы Замойской и самого градоначальника столицы. Сознание задерживается на понятии «градоначальник», и Прохор леденеет. Ежели вся эта грязная история докатилась до него, Прохору несдобровать.

– Ну-с?... так-с...

Генерал улыбнулся, нажал звонок, проговорил:

– Что ж... Выпьем по бокальчику. Для храбрости, – и заперхал в высокий красный воротник басистым хохотком.

– Благодарю вас, не могу, – соврал Прохор.

– Ну, как хотите, как хотите, – недовольно протянул генерал и щелчком пальца сшиб с мундира какую-то козявку.

– В сущности... Я бы... Но ведь мы собираемся к...

– Так, правильно. Но дело в том...

Тут из внутреннего помещения, раздвинув плюш портьер, явился человек в ливрее с синими отворотами.

– Лиссабонского! – приказал генерал, человек поклонился, подал вино. – Дело в том... Вы думаете, что сам-то градоначальник трезвенник? Ого! Посмотрели бы вы... Дело в том, что вам назначено там быть без четверти десять, – сейчас сорок две минуты девятого. Времени уйма... Итак... Ваше здоровье!.. – Генерал взял бокал, чокнулся с Прохором.

– Будьте здоровы, ваше превосходительство, – взял бокал и Прохор.

Генерал отхлебнул немного. Прохор залпом, жадно осушил до дна.

– Ага, – сказал генерал и позвонил. – Налей-ка, брат, еще, да балычку, икорочки...

– Может быть, сыр бри угодно вашему превосходительству?

– Давай сыр бри, – повоняй, брат, повоняй.

Человек быстро исполнил приказание и вышел.

– Дело вот в чем... Пейте, пожалуйста, кушайте... Не желаете ли вонючки? Надеюсь, у вас в Сибири этой дряни нет. Живые червяки, мерзость, тьфу, смердит, а между тем – пикантно... Ну-с. Ваше здоровье!

Прохор выпил второй бокал и третий.

– Ну-с, дело вот в чем. Вы, если не ошибаюсь...

Прохор насторожился, но его мысли теперь летели вскачь, в голове гудело.

– Если я не ошибаюсь, вы... Впрочем... Сейчас, сейчас... – Генерал нажал кнопку три раза. – Так-с, так-с. Ага...

В комнату из-за малиновых портьер вошла высокая полная дама в черной, волочащейся по полу мантилье. На голове кружевная накладка с черным закрывающим лицо вуалем.

– Он?

– Он.

Генерал ударил в ладоши. Подскочившие к Прохору жандармы вмиг скрутили ему полотенцем руки назад. Прохор как во сне поднялся. Черная дама откинула с лица вуаль.

– Узнал?

Пораженный Прохор вскрикнул, силясь высвободить связанные руки, стал быстро пятиться в пространство. Ненавидящие, холодные глаза, мстительно сверкая, двигались за ним, настигали его, и вот они оба – лицо в лицо.

– Мерзавец! Бандит!.. Так на ж тебе, так на ж!! – И две ошеломляющие пощечины, от которых качнулся, рухнул потолок, обожгли его сердце до самых глубин. – Узнал?

Прохор ринулся грудью на женщину и упал, оглушенный тупым ударом сзади. Его топтали сапоги, волочили по полу; генерал, раскорячившись на четвереньках и потеряв накладную свою бороду, орал ему в оба уха, в рот. Но Прохор ничего не видит, ничего не слышит и не чувствует: он где-то там, вне бытия, в пурге, во взмахах снежной бури.

Теплый поздний вечер. Санкт-Петербург в огнях. Он еще не провалился, жив, цветущ. Плоский простор болот до сытости давно набит тяжелым камнем. Что было на верху высоких гор – разбито вдребезги и свалено сюда, в низину. И вот балтийского болота нет, остались лишь непобедимые туманы: седые, желтые, холодные. Они влекут на своих убийственных подолах хмарь, хворь, смерть.

Иннокентий Филатыч, как свекла красный, с серебристой, начисто отмытой бородой пешочком возвращается из бани. Под мышкой веник (подарит приятелю, швейцару Мариинской гостиницы), в руке вышитый шерстью старинный саквояж с бельем. Вот чудесно. Хорошо попить чайку. Жаль, Анны нет, вдовухи-дочки. Сейчас бы на затравочку чайку домашнего, сейчас бы самовар, маленький графинчик водки – «год не пей, а после бани – укради, да выпей», поужинал – и спать. А встал – кругом тайга шумит. Вот жизнь!

А тут – шагай, шагай, и в брюхо тебе, и в бок, и в спину, того гляди под колеса попадешь, трамваи, извозчики, кареты, да моду взяли эти вонючие фыкалки с огнями по Питеру пускать. Улица, переулок, площадь, улица, еще два переулка. Да туда ли он идет?

Но в это время лязг копыт, карета.

– Что вы! Куда вы меня тащите?.. Карау...

– Цыц! Вы арестованы.

«Господи, помилуй! Господи, помилуй...» Карета мчится в тьму. По бокам – жандармы... «Господи, помилуй, – два жандарма!»

Пятый этаж. На диване – Прохор. Чуть дышит. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, жив или кончается?»

– Ваш?

– Наш.

Только два жандарма, более никого.

– А и что случилось с ним?

– Генерал допрашивал. Сильный обморок. Со страху. С непривычки...

– Господи, помилуй... Господи, помилуй... – закрестился на портрет царя.

– После помолишься, папаша... Ну, с Богом...

Вниз по лестнице. Шляпа с мотающейся головы Прохора валится. Старик сует шляпу к себе в карман. Белый воротник рубахи Прохора замазан дрянью. Очень скверно пахнет..

– Сыр бри, – поясняет жандарм и приказывает кучеру: – Пшел веселей! – И старику: – Ежели этим господским сыром, папаша, собаке хвост намазать – сбесится. А баре жрут...

– Господи, помилуй! – крестится старик.

Карета рывком летит вперед, старик то и дело ударяется головой в потолок, картузик переехал козырьком к уху, старик дрожит, Прохор мычит, сухо сплевывает, стонет.

– Мариинская, кажется? На Чернышевом?

– Так точно, – ляскает новыми зубами старец.

Жандарм приоткрыл дверцу, осмотрелся, крикнул:

– Извозчик! Двадцать семь тысяч восьмисотый номер. Стой!

Извозчик – молодой парнишка в синем балахоне, в клеенчатой жесткой, как жесь, шляпе – остановил лошадь.

– Ково?! Ково тебе?

– По приказу господина градоначальника. Больной человек, при нем – сопровождающий папаша. Живо!.. Пшел!..

– Ково?! – закричал парень вслед уносящейся карете.

– По-по-по-поезжай, дружок... Я деньги уплачу...

Господи, помилуй! Господи, помилуй!

## VII

На следующий день в «Петербургском листке» в отделе происшествий появилась заметка:

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО  
СИБИРСКОГО КОММЕРСАНТА  
П. П. ГРОМОВА

Дело было так. Прохора внесли в гостиницу. Собралась толпа. Засвистали постовые полицейские, начались звонки по телефону. Случившийся тут юркий вездесущий хроникер впопыхах расспросил трясущегося Иннокентия Филатыча, с его бессвязных слов тут же настроил заметку и помчался в редакцию, чтобы сдать в набор.

Впрочем, по пути он заехал в жандармское управление. Когда ему сказали там, что никакого ордера на арест Громова не выдавалось, хроникер вполне уверился, что тут дело пахнет уголовщиной.

Донельзя растерявшийся Иннокентий Филатыч стал в этой суматохе совершенно невменяем. Он бегал по гостинице с веником, разыскивал швейцара Петра, приятеля, чтоб вручить подарок. Наконец нашел его в каморке, под лестницей.

– А сегодня не мое дежурство, – сказал Петр. – Ах, ах, какое несчастье приключилось! Десять лет служу – такого не предвиделось. А ведь про вас жандармы-то спрашивали, пока вашего барина генерал брал. «Куда, мол, старичок ушел, давно ли да в какую баню?»

Иннокентия Филатыча окончательно вышибло из ума. Он обалдело глядел в лицо швейцара, сморкался и твердил:

– Господи, помилуй. Господи, помилуй!

Номер «Петербургского листка» с заметкой был чрез несколько дней получен в резиденции «Громово» инженером Парчевским. Кто прислал – неизвестно. Во всяком случае, ни тесть Прохора, ни Иннокентий Филатыч не присылали.

Читая заметку, Владислав Викентьевич Парчевский едва не лишился сил. Он дважды вспыхивал от бурного прилива крови, дважды белел как мел. «Умер. Громов умер. Хозяин умер...» Он искал точки опоры – радоваться ему или горевать? – но все под ним качалось, плыло. Трясущимися руками он разболтал в воде порошок бромю и залпом выпил.

Черт возьми, как же?.. Нина Яковлевна... Молодая вдова... Бårdзo, бårdзo... Эх, осел, пся крев, дурак!.. Не мог он, бесов сын, своевременно увлечь хозяйку... Но пес же ее знал, что она так внезапно, так трагически овдовевает. Несчастная Нина, несчастный инженер Парчевский! Все богатство, вся слава теперь, наверное, достанется Протасову. И слепцу видно, в каких он отношениях с хозяйкой.

«Нет, врешь, врешь, пся крев, врешь! Еще мы с тобой поборемся. Я с тобой, милорд Протасов, по мелочам рассчитывать не буду, а сразу, оптом».

Владислав Викентьевич Парчевский схватил фуражку и, позабыв надеть шинель, выскочил на улицу. А был холодный осенний вечер. На улице – ни души. Куда же бежать? К Нине Яковлевне, к Протасову, к мистеру Куку? Но вот вспомнилась Наденька, и Парчевский, не раздумывая больше, – быстро к ней.

Пристав дома – спал. Шептались на кухне. Наденька всплеснула руками, вся заметалась, бессильно села на скамейку. И тысячи мыслей, сбивая одна другую, забурлили в ее голове.

– Слушай, пойдем на двор.

– Ничего, Владик. Он пьяный, спит.

– Слушай! – лихорадочно зашептал он Наденьке в лицо, крепко прижимая ее руки к своей груди. – Слушай. Я с ума схожу... Слушай! Я должен жениться на хозяйке... Постой,



постой, не вырывай своих рук, слушай... Фу, черт!.. Дай воды... Когда женюсь – неужели, ты думаешь, буду ее любить? Клянусь тебе Божьей матерью, что ты будешь моей самой близкой, самой дорогой гражданской супругой! А Нину я скручу в бараний рог... Нет, я с ума схожу... О, Матка Бозка, Матка Бозка!.. – Он, обессиленный, зашатался и тоже сел на лавку рядом с Наденькой. Та припала к его плечу и тихо заплакала.

– Владик, Владик!.. Милый Владик... – Она высморкалась и, вся содрогаясь, прошептала: – А как же пристав мой? Убьет. Дай мне яду из лыбылатории...

– Не бойся. Мой дядя – губернатор, он немедленно вытребует его к себе, командирует на другое место, за тысячу верст... Устрою... Это не враг, это не враг... Враг мне в этом деле – Протасов... Сейчас же иди к нему, сообщи о смерти хозяина. В столичной газете... Я только что получил. И наблюдай, понимаешь, – тоныше наблюдай, как он, что он...

Нина еще не ложилась: одна пила вечерний чай, читала.

Встревоженно вошел инженер Парчевский. С особой почтительностью поцеловал хозяйке руку, сел.

– А я одна, скучаю... Очень рада вас видеть, – ласково сказала Нина, придвигая гостю чай и варенье. – Почему вы так редко бываете у нас?

Чтоб не выдать волнения, инженер Парчевский весь вспружинился, как бы взял себя в корсет.

– Нина Яковлевна, – задушевно начал он. – Как я смел помыслить вторгаться в вашу жизнь, нарушая ваш покой, который я так... А между тем я бесконечно люблю семейный уют. О, если б мне судьба вручила...

– Что, хорошую жену? – кокетливо склонив голову, улыбнулась ему хозяйка. – Женитесь на Кэтти. Чем не девушка?..

Парчевский опустил красивую свою голову, мигал, безмолвствовал.

– Что? Любите другую?

Парчевский поднял голову, с тоскующим укором взглянул на Нину полными слез глазами.

– Да... Люблю другую, – глухо, трагическим шепотом выдохнул он, и снова голова его склонилась.

Чувствительная Нина, видя его печаль, и сама готова была прослезиться. Ей в мысль не могло прийти, что причина крайнего смятения Парчевского – ее же собственные миллионы. Не изощренная в тонких разговорах, касающихся щекотливых тем, она не знала, что сказать ему. Она сказала:

– Раз любите другую, то я не вижу причин, заставляющих вас жить порознь. Надеюсь, она свободна?

– Нет! – быстро подняв голову, ответил Парчевский, и горящие щеки его задержались.

Нине инженер Парчевский не был безразличен. Когда ему случалось бывать в обществе Нины, он всякий раз проявлял к ней необычайную любезность. Нина – женщина, ей это льстило. Но она объясняла такое более чем деликатное отношение к ней Парчевского хорошим воспитанием его. «Сразу видно, что человек из общества», – думала она. Однако Нина – все-таки женщина. И тайком от всех, а может быть, и от самой себя, она, вглядываясь в приятные черты лица Парчевского, иногда мысленно взвешивала его как интересного мужчину. Но в таких случаях мерилom ее грешных дум всегда вставал облик Андрея Андреевича Протасова, и мысль о Парчевском сразу же смывалась.

Впрочем, во всем и всюду – тормозящие моменты. При иных условиях, может быть, все было бы по-другому. За последнее время тормоз, удерживающий Нину в душевном равновесии, мало-помалу стал сам собой ослабевать. Истинная любовь к мужу заколебалась, в сущности – ее уже нет. Нина держит Прохора в своем сердце лишь как неуживчивого квартиранта,

как отца ее Верочки, не больше. И если непрочное звено брачной цепи лопнет, тормоз сдаст, Нина-женщина может покатиться под гору.

Такой момент помаленьку приближался. Он слегка сквозил теперь в прекрасных опечаленных глазах Нины, в томных складках грусти, лежащих возле губ. Это заметил и талантливый актер Парчевский.

– Нина Яковлевна! Я всегда... совершенно искренне вам говорю, всегда, всегда был очарован вами.

– Спасибо, – потупившись, ответила Нина, и кончикам ушей ее стало жарко. Нина с интересом выжидала.

– Нина Яковлевна! Я всегда изумлялся вашему уму, вашему доброму, истинно христианскому сердцу. Я католик, но я христианин... И стоит вам сказать слово – я буду православным.

– Спасибо, – вновь протянула Нина, и печаль в ее взоре явно полиняла. Она теперь прислушивалась к вкрадчивому голосу Парчевского и сердцем и умом. – Вы, кажется, очень религиозны?

– О, без сомнения! – с пафосом воскликнул атеист Парчевский и с великим ликованием сразу ощутил под ногами твердь для дальнейшей атаки Нинино сердца. – Я весь в матушку. Она была русская, – соврал он, – и фанатически религиозна. Я и теперь часто молюсь по ночам, вспоминая свою святую мать и плачу...

– Какой вы милый! – в христианском сочувствии к нему сказала Нина, и сразу ей стало тепло возле него. – Как жаль, что... – и она не докончила, она хотела пожалеть, что ее близкий друг Протасов не такой. Она мечтательно откинулась в кресле, и горящие глаза ее устремились через потухший самовар, через вазы с фруктами куда-то вдаль.

Инженера Парчевского забила лихорадка. Он мельком взглянул на стенные английские часы, – они приготовились бить десять, – и решил, что время наступило. Наденька, наверное, уже успела закончить поручение, и Протасов вот-вот может появиться здесь. Итак, смелей! Минута промедления может все сгубить.

– Нина Яковлевна! – Парчевский поднялся во весь рост и сцепил ладони рук своих в замок.

Нина дрогнула духом и быстро повернулась в его сторону.

– Я должен, я должен открыть вам имя той, которая для меня дороже жизни.

Тонкие брови Нины взлетели вверх, рот полуоткрылся. Парчевский отступил полшага назад и безоглядно бросился, как в омут, к ногам Нины.

– Нина! Это вы!

Нина вскочила и, сверкая испуганным взглядом, с мольбой всплеснула руками в сторону серебряной иконы Богоматери.

– Презирайте меня, плюйте на меня! Я тут же покончу с собой у ваших ног. Но я люблю вас!

– Безумец! – вскричала Нина, собираясь бежать из комнаты. – Как вы осмелились мне, замужней женщине...

– Простите великодушно, простите! – заламывая, как провинциальный трагик, руки, полз за нею на коленях Парчевский и рыдающим голосом воскликнул: – Но вы вдова!..

– Вдова?! – Нервы Нины на мгновение сомлели, но она тут же рассмеялась каким-то особым злорадно-тихим смехом. – Да, да... В некотором роде – да, вдова. Но это все-таки еще не дает вам права...

Она оборвала и вздрогнула: под самым ухом ее задребезжал телефон (в их доме почти в каждой комнате по аппарату).

Парчевский быстро поднялся, отряхнул платком колени, расправил складки брюк и – замер.

Разговор по телефону:

- Нина Яковлевна? Добрый вечер.
- Добрый вечер. Протасов, вы?
- Я. Скажите, вы ничего не получали из Петербурга?
- Нет.
- Хм... Странно, очень странно...
- А именно?..
- Я имею известие, которое мне кажется совершенно невероятным...
- Приятное, нет?
- Н-н-н... не совсем... Разрешите мне пригласить в ваш дом Парчевского и самому явиться к вам...
- Владислав Викентьевич у меня...
- Ах, так вы знаете? Ну, как?
- Ничего не знаю...
- Странно, странно...
- Андрей Андреич, голубчик! Вы меня пугаете, – с надрывом задышала в трубку Нина. – Что-нибудь с мужем?
- Да.

Протасов немедленно приказал заложить лошадь. Меж тем, только Нина оторвалась от телефона, инженер Парчевский почтительно подал ей газету, сказав:

– Вы, как христианка, обязаны принять это известие мужественно. Судьбы Всевышнего Бога над нами. Езус Христус да поможет вам! – И он ткнул перстом в заметку.

Похолодевшая Нина, все забыв, села и скользнула взором по прыгающим строчкам:

**«ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО  
СИБИРСКОГО КОММЕРСАНТА  
П. П. ГРОМОВА**

Вчера, в начале одиннадцатого вечера, на легковом извозчике № 27800 был доставлен в Мариинскую гостиницу со слабыми признаками жизни временно проживающий в гостинице сибирский богач П. П. Громов. Пока переносили его в номер, пострадавший умер. С ним в лучшем номере гостиницы проживали: его родственник, сибирский купец Я. Н. Куприянов и служащий Громова Иннокентий Филатыч, старик, привезший Громова на извозчике. Этот старик, забывший от сильного душевного потрясения свою фамилию, рассказал нам следующее... и т. д.».

Заметка заканчивалась так:

«Тут, несомненно, налицо уголовное преступление. Вся столичная полиция поставлена на ноги. К открытию гнезда бандитов приняты энергичнейшие меры».

Газета была залита слезами Нины. Без истерики, без воплей, с чувством величайшего самообладания, однако забыв, что в комнате Парчевский, она подошла к переднему углу и стала перед иконой на колени. Инженеру Парчевскому пришлось проделать то же самое. Нина стукалась лбом в землю, Парчевский – тоже, стараясь удариться погромче. Нина вздыхала, вздыхал и Парчевский. Нина шептала молитвы, шептал молитвы и Парчевский.

– Добрый вечер, – сказал Протасов, и пенсне упало с его носа. – Что это?..

Инженер Парчевский вскочил, отпрянул в темноту, где стал тотчас же обмахивать платком брюки и править на них складку, ругаясь в душе: «Черт, лезет без доклада!»

Протасов тоже мысленно выругал его: «Подлец, пресмыкающееся!» – и вслух сказал:

– Простите, Нина Яковлевна. Я с черного хода.

– Я сию минуту, присядьте, Андрей Андреич, – проговорила Нина и вышла освежить лицо.

Протасов сел к столу, Парчевский – на диван. Оба чувствовали себя скверно: один как вор, другой как нечаянный, непрошенный свидетель-очевидец. Во всех углах столовой притаилось тревожное молчание. Лишь мерно отбивали такт часы да встряхивалась сонная канарейка. Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив. Парчевский внимательно точил ногти металлической пилочкой в костяной оправе.

– А я, простите, и не знал, что вы такой набожный.

Парчевский, не торопясь, вынул из сердца шпильку недруга и заострил свою:

– Как вам известно, я католик... Бывают обстоятельства, когда, когда... Ну просто, я растерялся, не знал, что делать, когда пани опустилась на колени... Но я никак не ожидал ни подобного вопроса с вашей стороны, ни того, что вы на цыпочках подкрадываетесь, как кошка... И то и другое – моветонно.

Парчевский закинул ногу на ногу и круто отвернулся от Протасова.

– Знаете, – проговорил Протасов, крутя в воздухе пенсне, – задав такой вопрос, я просто интересовался вами как типом... Вот и все...

– Мерси...

– Да, да. А вы свой менторский тон приберегите для кого-либо другого. Например, для Наденьки.

– Пардон... Для Надежды Васильевны, хотите вы сказать?

– Для той роли, которую вы ей навязали, она слишком примитивна, чтоб не сказать – глупа.

– При чем тут я и при чем тут Наденька? – поднял брови и плечи инженер Парчевский.

– Да, подобный симбиоз дьявольски интересен... Ха-ха-ха!..

Во всем черном вошла Нина.

## VIII

Весть о смерти хозяина разнеслась по всему поселку. Слухи плодились, как крысы: быстро и в геометрической прогрессии.

Отец Александр, хотя с большим сомнением в смерти Громова, все-таки на литургии помянул у Божьего престола новопреставленную душу Прохора. «Лучше пересолить, чем недосолить», – по-бурсацки, попросту подумал он. А как служба кончилась, горничная Настя передала ему приглашение барыни «пожаловать на чай».

Домашнее совещание – Нина, отец Александр, Протасов – происходило в кабинете Прохора. На нем присутствовал в качестве немого свидетеля и волк.

У Нины глаза заплаканы, естественный румянец закрыт густым слоем пудры. Отец Александр впервые прочитал заметку и трижды перекрестился.

– По-моему, еще бабушка надвое сказала, – проговорил Протасов, закуривая сигару Прохора. – Я полагаю, что «Петербургский листок» самая желтая, самая скандальная газета в мире. Бульварщина! На эту тему я уже говорил вчера с Ниной Яковлевной. И думаю, что я прав, утверждая, что тут просто какой-нибудь фортель... Хотя...

– Помилуйте, – крестообразно сложил священник руки на груди. – А имена? Иннокентий Филатыч, папаша Нины Яковлевны... Боюсь быть пророком, но логика заставляет думать, что...

– Вчера мы послали в Петербург экстренные телеграммы в несколько мест, – сказала Нина.

– В редакцию, в градоначальство, в столичную полицию и в адрес Прохора Петровича – в Мариинскую гостиницу, в Чернышевом переулке, – подтвердил Протасов.

При словах «Прохор Петрович» лежавший на кушетке волк наострил уши, позевнул и завил хвостом. Священник, заметив поведение животного, спросил хозяйку:

– А вы не наблюдали, многочтимая Нина Яковлевна, некоторого душевного, нет, не душевного, конечно, а... как бы это сказать? Ну, вот этот самый зверь, как он себя вел в то черное число? Может быть, выл, может быть, лаял, сугубо тосковал...

– Не припомню, – сказала Нина. – Голубчик Андрей Андреич, подайте мне шаль, замерзла я... – Она передернула плечами.

– Так, так... А то с сими бессловесными тварями бывает. Чуют, чуют... Ну, что ж. Ежели ничего не произошло такого, это зело утешительно. Во всяком случае, дочь моя, надо уповать на милость Божью и духа своего не угашать.

Читая назидания и понюхивая из серебряной табакерки душистый табачок, отец Александр привел несколько известных ему примеров, когда людей живыми почитали игрою случая за мертвых.

– Так было, например, с моим наставником преосвященнейшим новгородским и старорусским владыкой Феогностом...

– Или с владыкой американским Марком Твенем, – вставил Протасов, принеся шаль.

– Да, да! Да, да! – с какой-то детской радостью воскликнул священник.

– Я ко всему готова, – кутаясь в шаль, сказала Нина.

– Зело похвально!

Было выяснено, что ни телеграмм, ни писем от хозяина не поступало вот уже десять дней. Это обстоятельство признавалось самым тревожным. В сущности, для всех трагедия была почти достаточно очевидна. Лишь легкие тени надежды мелькали в душе Нины. Они только мучили ее, сбивали, не принося успокоения.

– Во всяком случае, – сказал священник, – я полагал бы целесообразным торжественную панихиду отложить до тех пор, пока факт абстрактный, не дай Бог, станет фактом конкрет-

ным. – Он почувствовал, что допустил некоторую неловкость, и, чтоб сгладить впечатление, добавил: – Впрочем, я интуитивно чувствую, что Прохор Петрович жив.

Волк опять быстро замолот хвостом и соскочил с кушетки.

– А ежели – да, что мне делать? – Опущенные глаза Нины опять заволоклись слезой. – Ехать в Питер или...

– Или предоставить доставку останков усопшего Иннокентию Филатычу и вашему папаше? – перебил священник. – Я полагал бы, вам бросать дела и хрупкую Верочку не следует.

– Что касается ведения дел, – сказал Протасов, выпустив густые клубы дыма, – то я ручаюсь головой, что дела ни в малой степени не пострадают.

– Я в этом уверена, – попробовала робко, сквозь слезы, улыбнуться ему Нина.

Протасов перехватил улыбку, как луч солнца, по-своему оценил ее и спрятал в сердце. Сердцу стало жутко, страшно и приятно.

Удрученной всех, пожалуй, чувствовала себя Анна Иннокентьевна. Лавку сегодня она не отпирала, а сидела в спальне полураздетая, окруженная кумушками, старушками, шептуньями, и, плача, неистово кричала:

– Папашеньку моего засудят!.. Папашеньку моего засудят!..

В своей искренней печали не отставал от нее и дьякон Ферапонт. Прохор выписал его с Урала как искуснейшего кузнеца. Он всей душой был привязан к Прохору. Сколько раз ходили они вместе с ним на опасную охоту. Однажды медведь смял Прохора – кузнец взмахом тяжелого топора сразу почти отсек зверю мохнатую башку. Прохор в долгу не остался, – он вдвое увеличил кузнецу жалованье и подарил ему хорошее ружье. Прохор, как и прочие, всегда поражался громоносным его голосом. Однажды стадо коров, напуганное заполошным зыком Ферапонта, примчалось с выгона в поселок, а бык ринулся в болото, завяз там по уши и сдох.

Когда Нина Яковлевна уезжала в гости или на богомолье, Прохор ударялся в гульбу. Он брал с собой кузнеца в лодку и заставлял петь разбойничьи песни:

Эх, долго ль мне плакать  
Судей умолять —  
Что ж медлят кнутами  
Меня на-а-казать...

Песня гудела, ударялась в скалы, неслась во все концы густо и сильно. Рабочие, копошась на работах, на минуту бросали дело, прислушивались, говорили:

– «Сам» с Ферапонтом гуляет.

Чтоб угодить Нине и возвысить кузнеца, Прохор однажды сказал ему:

– Слушай, Ферапонт... А хочешь в дьяконы?

– Мы темные, – с великой надеждой в сердце осклабился кузнец. – Ну, правда, читать-писать умеем хорошо.

Не бросая кузнецкого цеха, он на полгода поступил в обработку к отцу Александру, по настоянию Прохора женился на дочке отца Ипата из Медведева, несколько времени прожил в уездном городе, где и был недавно посвящен в дьяконы. Пред женитьбой кузнец имел такой разговор с Прохором:

– Прохор Петрович, а ведь у меня баба на Урале имеется... жена, Лукерья.

– Дети есть? Любишь ее?

– Никак нет.

– Документы при тебе? Паспорт, метрика...

Кузнец подал. Прохор бросил их в печку, сказал:

– Вот, теперь холостой.

А пристава велел послать Лукерье сто рублей и официальное уведомление, что ее муж «волею Божьей помер». Так, по капризу Прохора, Лукерья овдовела, кузнец стал дьяконом, вековуха Манечка, дочь отца Ипата, вышла замуж.

Великие дела может делать Прохор. Так как же темную смерть такого человека не оплакивать?! Дьякон Ферапонт в кузницу не пошел, с утра стал пить, сидел на полу, выпивал по маленькой, закусывал нечищенной картошкой и сквозь слезы заунывно выводил вполголоса:

Вечная па-амять...

Курносенькая толстушка Манечка – на аршин меньше его ростом – совсем карманная, имела над великаном-мужем неограниченную власть.

– Садись на пол. Вот тебе бутылка. И больше не смей. Ори не громко – народ ходит по улице.

И дьякон, утирая слезы, тихонечко тянул:

Со святыми упо-ко-ой...

А Манечка, засучив рукава, месила тесто.

Илья Петрович Сохатых ночь провел на рыбной ловле; он узнал печальную весть лишь сегодня утром. Ошеломленный, расстроенный бессонной ночью (поймал двух щук и двух язей), он сразу не мог сообразить: грустить ему или нет? Однако, отложив детальные размышления на этот счет до послеобеда, он из приличия тоже решил грустить и немедленно же впал в печаль. Но вот беда! Книга «Хороший тон, или как держать себя молодому человеку в обществе» не давала ему должных наставлений. Свадьбы, крестины, именины – этого добра хоть отбавляй, а похорон нету. Тоже, книжица! Хе-хе!.. Он решил действовать по усмотрению, согласуя свои поступки со здравым смыслом. Надел черную пару, приколот к рукаву траурный креп, пред зеркалом напрактиковался, опуская концы губ, делать лицо постным и пошел выразить Нине Яковлевне соболезнование.

С отвислыми губами он влез в кухню, поздоровался за руку с Настей и просил доложить барыне. Тем временем у Нины Яковлевны происходило совещание, – она сказалась больной, не вышла. Илья Петрович помрачнел, вздохнул, вынул свою визитную карточку с золотым обрезаем, приписал на ней «убитый горем», попросил вручить вдове, съел предложенный Настей пирожок, сказал «адью» и, посвистывая, удалился.

Рабочие на всех предприятиях, несмотря на окрики десятников и мастеров, на угрозы штрафом, работали сегодня через пень-колоду.

Частые и долгие закурки, разговоры-разговорчики. В глазах, в речах, в движении мускулов – прущее наружу злорадство.

– Подох – туда ему и дорога. Праздновать надо сегодня, а не спину гнуть. Хуже не будет. В сто разов лучше будет. С того человека, что пристукнул его, все грехи долой. Мы и сами собирались...

– Что? Что, что?!

– Так, ничего. Проехало.

Десятники, приказчики ради своего общественного положения стыдили рабочих, останавливали их, но сами по горло плавали в соблазне радости. «Хозяйка возьмется за дело – лафа будет. При ней – Протасов-управитель. А тот изничтожился, и само хорошо».

С обеда многие не вышли на работу. Приказанием пристава две казенки и пять пивных были закрыты. У шинкарок скуплено рабочими и выпито все вино. Каталага набита битком гуляками: пьяных таскали в бани и в склад чугунных отливок. Урядник и стражники расправ-

лялись с пьяными по-своему. Те отбивались ногами, плевали в ненавистные морды утеснителей, грозились:

– погоди, сволочи! Теперь все перевернется носом книзу.

Общая масса рабочих, окончив трудовой день, была трезва, буйства не позволяла, но все-таки рабочие пели песни, кричали «ура», даже додумались выбрать депутацию, чтоб идти к хозяйке и Протасову «с поздравкой», – их благоразумно отговорили. На некоторых избах и почти во всех бараках вывешены праздничные флаги. Стражники сбрасывали их, а мальчишки вывешивали вновь.

Альберт Генрихович Кук, будучи в полном здоровье, тоже сегодня забастовал, остался дома. С мистером Куком это небывалый случай. С утра приказал Ивану подать бутылку коньяку и никого не пускать. Иван был крайне удивлен. Не менее Ивана удивлен самим собой и мистер Кук. Такого малодушия, такой дряблости духа с ним никогда не приключалось.

Надо бы немедленно пойти, упасть к ногам ее, молить, просить. Но воля, мысль – в параличе. «Ну, одну для храбрости. Ну, другую... Ну, третью. Теперь или никогда, теперь или никогда».

– Иван, новый бутылка! Больван! Вчера ослеп, завтра не видишь?!

«Да, надо идти, надо идти. Во всяком случае – шансы есть. Протасов – социалист, материалист, – долой, не в счет; Парчевский – щенок, дурак, картежник, – долой! Еще кто, еще кто, черт побери?! И так – шансов на восемьдесят пять процентов».

– Иван! Штиблеты... Очень лючие.

Он сбрасывает войлочные туфли, но душевный паралич вновь поражает его волю. Звонит телефон, мистер Кук с лихорадочным взглядом сумасшедшего снимает трубку:

– Кто? Протасов, вы? К черту! Меня нет дома...

«Да, да, надо идти, надо идти... Но я как будто... вы... вы... выпивши».

– Иван! Я пьян?

– Никак нет, вашскородие.

Он припоминает ту, давнишнюю встречу с Ниной. О, как он ее любил тогда и как любит по сей день! О, как любит! Так не может любить ни один русский, ни один немец, ни один француз. Даже шекспировский мавр не любил так свою Дездемону, как он любит мадам Громофф... несчастный, как это, ну как это?.. несчастный вдофф... Ради нее, может быть, он и прозябает в этой дикой стране, с этим диким человеком Прохор Громофф...

– Барин, ужинать прикажете?

– Как, как, как? Я еще не оччень позавтракал. Пей!

Иван пьет.

– Иди!

Иван уходит.

Да, да. Он помнит очень хорошо. Роща. Серп месяца справа и – она. Он бросился перед ней на колени, он принял лбом к ее запыленным туфлям. Она подняла его, что-то сказала ему, но он тогда был глух на оба уха, был безумен, он крикнул: «О да, о да», – и выстрелил из револьвера. Он хотел тогда убить себя. Но – пуля улетела вверх. Несчастный случай. О да! О да! И лишь спустя неделю каким-то чудом он ясно вспомнил все ее слова. Она сказала: «Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить как славного человека». И добавила: «не больше»... Эту ее фразу он навеки выгравировал в своем сердце. Резец был – страсть, смертельная жажда достижения. А последние слова «не больше» (он смысл их понял) спустились из сердца в печень. Они терзают его, они мешают ему спокойно жить, они горьки, как желчь...

Все на свете можно превозмочь. Можно взорвать скалу, можно пустить реку по другому руслу, можно победить самого себя. Но женщина? Как ее возьмешь, каким волшебным ядом приворожишь к себе?.. Кто, кто? Кто ответит?!



– Чего-с?

Перед ним Иван. Он качается вправо-влево, приседает, подпрыгивает к потолку. И все качается, все приседает, все подпрыгивает. Мистер Кук прочно уперся ногами в пол, а руками вцепился в верхнюю доску стола. Но пол колыхался, как качель, а заваленный чертежами письменный стол старался вырваться из хозяйских рук и лететь в пространство. Мистер Кук икнул и устался Ивану в переносицу.

– Садись, Иван... – сказал он слабым голосом.

Иван повиновался.

– Иван! – Мистер Кук оторвал руки от стола и чуть не упал на пол. – Иван! А вдруг ты и я будем... ну завтра... ну через недель-другой оччень, оччень богаты. О, я сумею поставить дело, поверь, Иван... – Он чуть приоткрыл глаза – Ивана не было, сидел Протасов. Приоткрыл глаза пошире – вместо Протасова – Парчевский, он вытаращил и протер глаза – Парчевский исчез и вместо него он, он, сам мистер Кук, двойник.

– С кем имею честь?

И мистер Кук запустил в самого себя грузным пресс-папье. Зеркало, перед которым он брился утром, – вдребезги и кувырнулось со стола.

– Ха-ха!.. Фено-оме-нально!..

Да, да... Все-таки надо идти как можно скорей. Настал последний час, и мистер Кук должен предстать пред своей дамой. Мистер Кук прекрасно воспитан. Мистер Кук вполне уверен, что дама предпочтет именно его. О, мистер Кук скоро, очень, очень скоро будет миллионером. Да, да, да...

– Иван!.. Давай! Очень лючший...

– Чего-с?!

– Брука, брука, брука!

– Помилуйте, господин барин! Какие брюки?! Ночь. Вы две бутылки коньяку изволили вылакать.

– Оччень ты дурак... Рюска хорош пословиц говорит: кто обжегся на молоке, дует водку... Ну, живо, живо, живо!.. Бутылка водки!..

– Не дам, вашскородие... Ей-богу, не дам. Извольте ложиться дрыхнуть.

Мистер Кук с добродушной улыбкой посмотрел на него, прищелкнул пальцами и прилег ухом на стол. Стол гудел, качался. Подошла к мистеру Куку Нина, погладила его волосы и бережно повела его на холостяцкую кушетку.

– О Богиня!.. Это вы?..

– Так точно, барин, я... – сказал Иван, поддерживая его под мышки.

Часы пробили двенадцать. А около часу ночи дежуривший в почтовой конторе стражник привез Нине сразу четыре ответные телеграммы.

## IX

Инженер Парчевский вернулся после вечернего свидания с очаровательной хозяйкой в полном восторге от самого себя. Его небольшая – две комнаты и кухня – квартира была обставлена по-барски: Прохор Петрович из практических целей на это денег не жалел. Пан Парчевский подошел по мягкому ковру к большому зеркалу. На него глянуло счастливое лицо, подбородок и губы улыбались, глаза же, как ни старался он смягчить их выражение, оставались жестки и надменны.

– Вид гордый, самостоятельный и... милый, – сказал он. Зеркало повторило за ним точь-в-точь, как попугай.

Ну конечно. Не седеющей же голове Протасова тягаться с молодым ясновельможным паном, в жилах которого течет кровь, может быть, самого круля Яна Собесского. Он же великолепно подметил отношение хозяйки к этому русскому пентюху Протасову. Простая дружба, выгодная для сторон, все же остальное – глупые бредни полоумной Наденьки. Да иначе и не может быть: в пани Нине слишком сильна вера в Бога, Протасов же... Ха-ха! Пусть, пусть, тем лучше.

Провожая его до передней, даже дальше, до самой выходной двери, пани Нина благодарным голосом сказала ему:

– Милый, милый Владислав Викентьич. Я очень ценю вашу преданность мне... Только ваше молодое сердце могло понять весь тот ужас, который меня охватил теперь. Так неужели вы любите меня? Спасибо вам. Прощайте, милый.

Положим, пани говорила не те слова, даже совсем другими были ее речи, но она именно сказала бы так, если б этот проклятый смерд Протасов не высунул в дверь свою бульдожьё башку, чтоб все подглядеть, все подслушать своими ослиными ушами. О, пся крев!..

– Цо то бендзе, цо то бендзе?..

Хватаясь за виски, плавая в золотых мечтах, пан Парчевский проследовал по ковру к конторке и стал сочинять запросную телеграмму своему другу в Питер.

Эту ночь многие, кто успел узнать траурную новость, не спали вовсе.

Не ложилась спать и Кэтти. Она не могла отважиться одна пойти к Нине. Кэтти жила в просторной комнате у женатого механика. Чистейшая кровать, книги, портреты, всюду цветы – комната благоухает. На подушке, засунув мордочку в пушистый хвост, спит ручная белка Леди.

Девушке нет покоя. Институтка по воспитанию, младшая подруга Нины, она обожает ее. И вся ее внутренняя жизнь в заоблачных мечтах. Она также обожает и Протасова, пожалуй, маленько обожает и Парчевского. Но она много слышала про него дурного, и ее сердце всегда отодвигало его на запасные пути.

Интересно заглянуть в ее дневник. Она отражена в нем – вся.

*«17 июля.* Вчера, завиваясь, обожгла лоб. Ангел Нина подарила мне флакон парижских духов. Я без ума от них. Тонкий, но очень прочный запах.

*21 июля.* Сегодня мылась вместе с Ниной у них в бане. Я очень похудела, но похорошела. Ноги длинные. Очень жаль, что я не балерина. Хотя поздно. Мне 25 лет. Так полагаю, что похудела от этого несносного А. А. Пр. Мне показалось, что он мне строит глазки. Но, я знаю, он любит Нину, а на такую фифку, как я, – плюет. Он думает, что я – девчоныш.

*30 июля.* Папочка пишет, что их полк переводят в Рязань. Он назначен командиром полка. Парчевский жал мне руку двусмысленно. Он душка. Он нехорошо снится мне. Нескромно.

*1 августа.* Протасов никогда не возьмет меня замуж. Хотя Нина уверяет меня в обратном, я вижу по всему, что она равнодушна к нему, она хитрит со мной. Леди обмочила мне

подушку очень желтым, как гуммигут. Как жаль, что здесь нет лимонов. Я очень скучаю по лимонам и апельсинам. Еще скучаю о маме. Зачем она так рано умерла?

23 августа. Очень давно не писала. Протасов в моем присутствии сказал Нине, что он если женится, то на очень молоденькой девушке, наивной, как цветок, и постарается воспитать ее, возвысить до человека. Я заметила, как губы Нины задергались. Протасов сказал: «Но этого никогда не будет». Он какой-то загадочный. Все уверены, что он заодно с рабочими. Какая низость!»

Все в том же роде. И вот сейчас, в эту глухую ночь, она вписала:

«Догорели огни, облетели цветы». Бедное мое сердце чувствует, что Нина выйдет за Протасова. Она умная. И, кроме того, у меня есть на этот счет данные. А мне, бедненькой, кто ж? Парчевский? Эх, фифка, фифка! Уксусу не хватает в моей жизни. Уксусу!!»

Она разделась, не молившись Богу, бросилась в кровать и стала не совсем скромно думать о Парчевском.

А Парчевский меж тем уже два часа сидит у пристава.

Пили поздний чай. Пристав пыхтел. Разговор сразу перешел на событие. Пристав был в шелковой, вышитой Наденькой голубой рубашке с пояском и походил на разжиревшего кабатчика. Поставив на ладонь блюдце, он подул на горячий чай.

– Я вам, Владислав Викентьич, доверяю, – сказал он. – Вы – наш. А этот прохиндей Протасов – ого-го! Это штука, я вам доложу.

– Вполне согласен...

– И ежели, Боже упаси, он вскружит голову хозяйке, – а это вполне возможно, – ну, тогда... сами понимаете... Ни мне, ни вам... Да он меня со свету сживет.

– Не бойтесь, – сказал Парчевский. – Моему дяде кой-что известно про Протасова. Он же якобинец, социалист чистейшей марки.

– Правда, правда, – подхватила Наденька. – Я ж сама видела, как он ночью со сборища выходил...

– Да он ли?

– Он, он, он!... Что? Меня провести? Фига!

Пан Парчевский чуть поморщился от грубой фразы Наденьки.

– Этот самый Протасов давно мною пойман... – И пристав утер мокрое лицо полотенцем с петухами. – Но... он был под защитой покойного Прохора Петровича.

– Ах, вот как? Странно. Я не знал.

И Парчевский записал в памяти эту фразу пристава.

– И знаете что, милейший Владислав Викентьевич... – Пристав прошелся по комнате, сшиб щелчком ползущего по печке таракана и махнул по пушистым усам концами пальцев. Он сел на диванчик, в темноту, и уставился бычьими глазами в упор на Парчевского. – Я, знаете, хотел с вами, Владислав Викентьич, посоветоваться.

– К вашим услугам, – ответил Парчевский и повернулся к спрятавшемуся в полумраке пристава.

– Наденька, сходи в погреб за рыжичками... И... наливочка там... понимаешь, в бошонке... Нацеди в графинчик. – Наденька зажгла фонарь, ушла. Пристав запер за нею дверь, снова сел в потемки. – Дело вот в чем. Как вам известно, а может быть, неизвестно, покойный Прохор Петрович должен мне сорок пять тысяч рублей. В сущности, пятьдесят, но он пять тысяч оспаривал, ну, да и Бог с ними. Тысяч двадцать он взял у меня еще в селе Медведеве, там одно неприятное дельце было, по которому он после суда оказался прав. И вот... – У пристава сильно забурлило в животе; он переждал момент. – И вот, представьте, я не имею от него документа. Опростоволосился. Теперь буду говорить прямо. Я должен состряпать фиктивный документишко задним числом с моей подписью и подписью какого-нибудь благородного свидетеля, при котором я вручал Гронову деньги. Так как этот документ я представляю в контору

для оплаты, а может быть, и в суд, то благородный свидетель должен быть человек известный и стоящий вне подозрений. За услуги я уплачиваю свидетелю, невзирая на свою бедность, – пристав икнул, – пять тысяч рублей. Из них тысячу рублей я могу вручить в виде задатка сейчас же, вот сию минуту. – Пристав опять икнул. – Не можете ли порекомендовать мне такого человека?

Теперь забурлило в животе у Парчевского.

– Н-н-н-е знаю, – протянул он и заскрипел стулом. – Надо подумать.

Ему не видно было лица пристава, но пристав-то отлично видел его заюлившие глаза и сразу сообразил, что пан Парчевский думать будет недолго.

Однако он ошибся. В изобретательной, но не быстрой голове Парчевского закружились доводы за и против. Пять тысяч, конечно, деньги, но... Вдруг действительно пани Нина будет его женой. Тогда пришлось бы Парчевскому доплачивать приставу сорок тысяч из своего кармана.

– Разрешите дать вам ответ через некоторое время.

– Сейчас...

– Не могу, увольте.

– Сейчас или никогда. Найду другого...

Парчевского била дрожь. Пристав подошел к нему, достал из кармана широких цыганских штанов бумажник и бросил на стол пачку новых кредитных билетов.

– Сейчас... Ну?

У пана Парчевского румянец со щек быстро переполз на шею. Синица, улетающая, чирикнула в небе, и журавль сладко клюнул в сердце. Пять тысяч рублей, поездка в уездный город, клуб, картишки, сотысячный выигрыш.

– Ну-с?

– Давайте!

Наденька постучала в дверь.

– Успеешь, – сказал пристав и подал Парчевскому для подписи бумажку. Тот, как под гипнозом, прочел и подписал.

– Спасибо, – сказал пристав. – Спасибо. Тут ровно тысяча. Извольте убрать. Моей бабе ни гугу. У бабы язык что ветер. Бойтесь баб... Фу-у! Одышка, понимаете. Ну вот-с, дельце сделано. Я должен вас предупредить, что Прохор жулик, я жулик, Наденька тоже вроде Соньки Золотой Ручки. Вы, простите за откровенность, тоже жулик...

– Геть! Цыц!! – вскочил пан Парчевский.

– Остыньте, стоп! – И пристав посадил его на место. – Вы ж картежник... Вы ж судились. Вы же переписываетесь с известным в Питере шулером. Ха-ха-ха!.. Думаете, я адресованных к вам писем не читаю? Ого!.. Итак, руку, коллега!

Парчевский, как лунатик, ничего не соображая, потряс протянутую руку, вынул платок и, едва передохнув, отер мокрый лоб и шею. Пристав отпер дверь. Вошла Наденька.

– Ого! Наливочка! Ну, за упокой души новопреставленного. Надюша, наливай!

– Окрóпне, окрóпне!.. – шепотом ужасался по-польски Парчевский.

## Х

Так текла Угрюм-река в глухой тайге. Совершенно по-иному шумели невские волны в Петербурге.

Впрочем, прошло уже несколько дней, как Иннокентий Филатыч покинул столицу. Он успел перевалить Урал, проехать пол-Сибири. Вот он в большом городе, вот он идет в окружную психиатрическую лечебницу навестить, по просьбе Нины, Петра Данилыча Громова. По дороге завернул на телеграф, послал депешу дочке:

*«Еду домой. Жив-здоров. Отчески целую. Иннокентий Груздев».*

Психиатрическая лечебница отличалась чистотой, порядком. Иннокентия Филатыча ввели в зал свиданий. Ясенева мягкая мебель, в кадках цветы, много света. Чрез широкий коридор видны стеклянные двери; за ними мелькали фигуры группами, парами и в одиночку. Вошел молодой, с быстрым взглядом, доктор в белом халате.

- Вы имеете письменное поручение навестить больного Громова?
- Никак нет. Мне устно велела это сделать его невестка, госпожа Громова.
- А не сын?
- Никак нет.
- Странно. Присядьте.

Доктор приказал сестре принести из шкафа номер десять папку номер тридцать пять.

– Больной наш странный. Он – больной и не больной. В сущности, его можно бы держать, при хорошем уходе, и дома. Это передайте там. Больной почти во всем нормален, но иногда он плетет странную околесицу, считая своего сына разбойником и убийцей.

– Ах, какой невежа! – хлопнул себя по коленкам Иннокентий Филатыч и соорудил возмущенное лицо. – Нет, уж вы держите его, ради Бога, здесь. Он сумасшедший, обязательно сумасшедший. Вы не верьте ему, господин доктор. Он только прикидывается здоровым. Я его знаю. И болтовне его не верьте. Я по себе понимаю. Я ведь тоже ненадолго сходил с ума.

– Ах, так?

– Да как же! – радостно, во все бородатое лицо заулыбался старик, предусмотрительно придерживая концами пальцев зубы. – До того наглотался как-то водки да коньяков, что живому человеку едва нос не откусил. Поверьте совести! Людей перестал узнавать в натуре, вот дожрался до чего.

– А кто же вас вылечил? Какими средствами? Нуте, нуте, – заулыбался и доктор. Ему было приятно поболтать со здоровым, веселым стариком.

– А средства, изволите ли видеть, самые простые. Конечно, пьянством вылечился я.

– Пьянством?!

– Так точно, пьянством...

– Ха-ха-ха! – покатился доктор. – Наперекор стихиям?

– Эта самая стихия, васкородие, так уцапала меня, что...

Сестра принесла портфель.

– Вот, глядите, – сказал доктор и вынул из портфеля полстопы исписанной бумаги. – Это коллекция прошений Громова на высочайшее имя, на имя министров, архиереев, председателя Государственной думы и какому-то Ибрагим-Оглы.

– Так, так. Черкесец. Я знаю.

– Ах, знаете? А вот еще письмо на тот свет, Анфисе. Тоже знаете?

– Эту не знаю. Эта убита до меня.

– Кем?

– Ибрагимом-Оглы.

Иннокентий Филатыч резко смолк, надел очки, стал читать неумелый почерк Громова.

*«Ваше императорское величество, царь государь, вникните в это самое положение, разберитесь, пожалуйста, во своем великом дворце со всем царствующим домом, как сын-злодей запекарчил меня в сумасшедший дом. А как он есть злодей, то я никому об этом не скажу, никому не скажу, никому не скажу, кроме Анфисы на том свете».*

И снова: «Ваше императорское величество» и т. д., слово в слово, кругом целый лист. В конце листа сургучная печать с копеечкой вверх орлом и подпись.

Прошения министрам начинались так:

*«Вельможный сиятельный министр господин, вникни в это самое положение»* и т. д.

– А вот письмо черкесу, – подсунул доктор другую бумагу.

*«Душа моя Ибрагим-Оглы, верный страж мой, а пишет тебе твой благодетель Петр Данилыч Громов понапрасну сумасшедший, чрез сына Проику, чрез змееныша. Ведь ты тоже, Ибрагим-Оглы, сидишь в нашем желтом доме, ты тоже сумасшедший, только в другой палате. Я тебе гаркал, а ты кричал на меня: «Цх! Отрезано». Дурак ты, сукин ты сын после всего этого и боле ничего. А ты пиши ответ, седлай коня своего белого, пожалуйста, который есть подарок мой. И скачи, пожалуйста, к окну. Я выпрыгну, тогда мы укачем к наиглавнейшему министру. Пиши, дурак, дьявол лысый, цульна окаянная».*

Письмо Анфисе:

Анфиса, ангел самый лучший!  
Ты не стой, не стой  
На горе крутой,  
Не клони главы  
Ко земле сырой.

*«Не верь, матушка моя, не верь, доченька моя холодная, быдто тебя убили. Никому не верь, никому не говори, кто дал тебе конец; одному Богу скажи да мне. Здравствуй, Анфиса; прощай, Анфиса! Жди, жди, жди, жди, жди, жди... Ура! Боже, царя храни. А Прошка, змееныш, жив. Мы его должны убить. Огнем убить. Сумасшедшие все умные. И я умный. А ты другой раз не умирай, колпак. Пишет Илья Сохатых за неграмотство. Аминь».*

– Надевайте халат. Пойдемте к нему.

И вот Иннокентий Филатыч идет чрез большой зал за доктором. В зале народ.

– Профессор, профессор! Новый профессор!

– К нам, к нам, к нам!.. Я своим рассудком недоволен. Посоветоваться...

– Я не профессор, – говорил на ходу Иннокентий Филатыч. – Меня самого в камеру ведут.

– Ах, спятил, спятил? Ха-ха! Небо и земля, гляди! И этот спятил.

Иннокентий Филатыч и доктор приостановились. По паркетному полу танцевали пары. Бренчал рояль. В дальнем углу пиликал на скрипке длинноволосый, поглядывая в окно на пожелтевший сад. Вот высокий черный дьякон в рясе шагает с весьма серьезным видом. Руки воздеты вверх и в стороны, вытаращенные глаза неподвижны. Размеренно возглашает, как по священной книге:

– Твоя правда, моя правда! Твоя правда, моя правда! Правда от Мельхиседека, первая и вторая правда!

Красивая девушка, изогнувшись на бархатной софе, мягко жестикулирует, ведет любовный разговор с воображаемым соседом; в милых, ласковых глазах туман недуга.

– Нет, нет, Дима, вы ошибаетесь. Здесь нет никого, здесь мы одни... Так целуйте же скорее!.. – Она вся подалась вправо, в пустоту, но вдруг схватила за голову и с ужасом отпрянула: – Мертвый, мертвый, мертвый!..

К ней подбежала сестра.

Иннокентий Филатыч вопросительно уставился на доктора и с робостью подметил в глазах врача неладное: будто он глядит и ничего не видит, будто прислушивается к чему-то далекому, за тысячу верст. «Эге, и он с максимцем!»

– Не троньте меня, не прикасайтесь! – кричал безумный с толстыми вытянутыми губами, весь в угрях, плешистый. Он шел, вдвое перегнувшись и раскорячив ноги. – Осторожно! Сейчас отвалится... – Со смертельным страхом на лице и в голосе он оберегал настороженными руками какую-то висевшую пред ним воображаемую драгоценность. – Осторожней! Мой нос на ниточке. Сейчас отвалится... В нем восемьдесят пудов весу... Смерть тогда, смерть, смерть, смерть! Дорогу!!

Кто-то дико хохотал. Кто-то с великим рыданием пел псалмы. Кто-то выл, как зяблый волк.

Иннокентию Филатычу сначала было любопытно, потом он испугался; вытянулось лицо, задрыгали поджилки.

– Пойдемте, – сказал он доктору. – Мне худо.

Белая маленькая палата, белая койка, белый стол, два стула, окно очень высоко приподнято над полом. Возле стола в согбенной позе – руки в рукава – совсем не страшный, тихий человек.

– Они?

– Да, он.

Иннокентий Филатыч знал его лохматым широкоплечим мужиком с густой седеющей гривой, с большой темной бородой, с зычным, устрашающим голосом. Теперь пред ним безбородый, безусый, с бритым черепом, узкогрудый человек. Лишь хохлатые седые брови козырьками придавали глазам прежний строптивый вид. Иннокентию Филатычу стало очень жаль его. Иннокентий Филатыч с горечью каялся в душе, что в разговоре с доктором бухнул сдуру такие необдуманные речи про несчастного безумца.

– Здравствуйте, Петр Данилыч, батюшка!

– Кто таков? Систент? – мельком взглянул больной на старика.

– Я Груздев, Иннокентий Филатыч Груздев... Может, помните?

– Как же, как же... Помню. Грузди с тобой собирали в лесу. Садись, а то схвачу за бороду, сам посажу. Я буйный.

Старик безмолвно сел, мысленно творя молитву. Доктор пощупал у больного пульс, сказал:

– Совсем вы не буйный. Вы тихий, прекрасный человек.

– Врешь! – выдернул больной свою руку из руки доктора. – А врешь оттого, что тебе Прощка платит большие деньги. Ну, и не ври. Я не люблю, когда врут. Коли был бы я человек прекрасный, не сидел бы в желтом доме у тебя. – Он повернулся к Груздеву и строго спросил: – Кто подослал тебя? Рцы!

– Нина Яковлевна меня просила, супруга Прохора Петровича, – с душевной робостью сказал старик.

– Не поминай Прощку! Не поминай! Убью! Я буйный.

Вдруг брови Петра Данилыча задвигались, как у филина на огонь, сморщенные щеки одрябли, он припал бритым черепом к столу, уткнулся лицом в пригоршни и заперхал сухим, лающим плачем. Острые плечи его тряслись, голова моталась. Иннокентий Филатыч расслабленно кашлянул, выхватил красный платок и засморкался. Какой-то удушливый мрак плыл пред его глазами, сердцу становилось невтерпеж. «Эх, Прохор, Прохор, посмотрел бы на своего батьку!» – горестно подумал он.

Петр Данилыч не спеша поднял голову, поморгал глазами, шумно передохнул:

– Уйди, уважь меня, Сергей Митрич, друг... Выйди на минутку.

Доктор вышел, шепнув Груздеву:

– Не бойтесь.

Петр Данилыч подъехал со стулом к гостю, взял за руку, погладил ее:

– А увидишь Прошку, скажи ему: батька хоть и ненавидит, мол, тебя, а любит. Нет, нет, нет, не говори! – закричал он, замахал руками и, дергаясь лицом, отъехал к самому окну.

– Я так полагаю, Прохор Петрович возьмет вас к себе.

– Был разговор?

– Был, – соврал гость.

Петр Данилыч вскочил, запахнулся в короткий, не по росту халат и стал быстро, как под крутую гору, кружить по комнате.

– Сам, сам, сам приеду, – бормотал он. – Я велю приклеить себе усы, бороду, лохмы. А то опять выгонит, а то опять засадит. Сам, сам приеду, грозным судией. Дай покурить!..

– Нету-с.

– Дай понюхать!

– Нету-с. Вот апельсинчиков питерских вам в подарочек. – И старик положил на стол кулек.

– Уважаю. Здесь не дают. Да я и вкус потерял к ним. А съем. – Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол.

– Позвольте, я очищу.

– Очисти, брат Кеша, очисти... – Он подсел к Груздеву и скороговоркой загудел, как шмель. – Я не сумасшедший, я здоровый. Я только дурака валяю, чтоб не выгнали, да дурацкие прошения пишу для отвода глаз. Я бы написал, я бы сумел написать, да боюсь – и впрямь освободят. Куда я тогда? В петлю? В петлю? Али к Прошке? Он не примет, опять куда-нито засадит, а нет – убьет. А ты пожалей меня, друг Кешка, пожалей. Упроси, укланяй Нину; она добрая. Пусть возьмет. А то спячу и впрямь. Пусть возьмет. В каморке буду жить, внуков пестовать. Ведь у меня деньги, много денег. Где они? У Прошки, у грабителя. А что ж, а что ж?.. Мне еще шестьдесят два года, мне еще жить хочется. Здесь уж который год живу. Пожалей, брат, пожалей меня, Кешка! За то Бог тебя пожалеет. Слезно прошу, слезно прошу. Кешка, родной мой, милый мой, возьми меня сейчас!.. Я как-нибудь с краешку. Якова Назарыча попроси... Всех попроси... Слушай, слушай! Поезжай в Медведево, по Анфисе панихиду. По жене моей панихиду. А когда вернусь, всех ублаговторю. И слушай – тебе как другу: приеду, притаюсь, ласковым прикинусь. А потом, когда час придет, выпущу когти и сожру Прошку, как мыша, с костями проглочу. Без этого не умру. Без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня денно-нощно. Вишь, какой я? Чем был – чем стал! Злодей он, злодей, как не стыдно его харе! Отца родного... О-т-ца-а-а!..

Тут у него полились слезы, он бросил на пол недоеденный апельсин и повалился на кровать, лицом в подушку.

Вошел доктор с часами в руках и склянкой.

– Должен просить вас удалиться. Больше нельзя. Больной, не хотите ли ложечку микстуры?



Тот отлягнулся ногой и застонал. Сердце Иннокентия Филатыча обливалось кровью. Впору самому бы брякнуться на пол и рыдать.

– Прощай, Петр Данилыч, батюшка! Оздоровливайте.

– Здравствуй, Кешка Груздев, здравствуй! Твердо помни все. Не сделаешь – сдохну, а и мертвый ходить к тебе буду, замучаю. Я буйный.

Сморкаясь в красный платочек, старик возвращался со свидания, как с погоста, где только что зарыли в могилу друга. Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей.

Его телеграмму Анна Иннокентьевна получила ночью, с трепетом прочла, ударилась в радостные слезы: «Папенька жив-здоров, папеньку не засудили». Утром пошла к Нине Яковлевне поделиться своей новостью, еще раз погрузиться с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был опечален: вчерашние четыре телеграммы поставили в его жизни все на свои места.

Нина Яковлевна внешне выражала большую радость. Но что у нее в душе – никто, никто не знал. Даже Протасов, даже священник, которому заказан был благодарственный молебен о здравии «в путь шествующего» раба Божия Прохора.

И всякий отнесся к странной игре судьбы по-своему.

Мистер Кук, совершенно протрезвев к утру, быстро вскочил с кушетки, потянулся и закурил трубку. Вместе с солнцем в лицо ему глянул предстоящий кошмар сегодняшнего дня. Нет, довольно быть тряпкой! Сейчас же пойдет к своей мадонне и... «Либо буду паном, либо очень пропаду», – попробовал думать он по-русски.

Иван, усерднейше подавая барину халат, сказал:

– Прохор Петрович живы-здоровы. Скоро изволят прибыть.

Изо рта остолбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое.

Пятилетняя Верочка втолковывала волку:

– Волченька, серенький... Папочка скоро приедет. Ей-богу! Вот увидишь. Тилиграм пришел.

Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам, проникался общим приподнятым в доме настроением, часто вскакивал на подоконник и подолгу смотрел вдаль, где вот-вот должны забрякать бубенцы зверь-тройки.

Да! Всяк отнесся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Пропившийся Филька Шкворень дал крепкий зарок не пьянствовать, ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, беда... Влетит мне!» Напротив, дьякон Ферапонт с утра ушел к шинкарке, сказав жене, что идет в кузню, на работу. Весь день в радости пил и, чтоб не услышала Манечка, в четверть голоса славословил Бога, спасшего Прохора Петровича от смерти.

Андрей Андреевич Протасов, получив известие, присвистнул как-то на два смысла и нахмурил брови.

Рабочие стали молчаливы. Нагоняя пропущенное, работали с усердием. Вздыхали.

Угрюм-река по-прежнему катила свои воды. С виду равнодушная ко всему на свете, широко и плавно стремясь в солнечную даль, она омывала земные берега, где назначена могила каждому.

Наденька и пристав злобно фыркают друг на друга, как кошка и собака, пан Парчевский с утра мается резкими приступами частого расстройств желудка, Иннокентий Филатыч едет, Угрюм-река течет.

Но мы обязаны знать, что было в Питере до отъезда Иннокентия Филатыча. На другой день после происшествия Яков Назарыч с разрешения врача показал Прохору записку о его

смерти. Прохор прочел, улыбнулся, а потом рассмеялся громко, во все легкие, но тут же схватился за грудь и болезненно сморщился.

Тем же утром автор этой заметки, хроникер желтой газетки Какин, в люстриновом разлетайчике, в длинном, цвета маринованной куропатки галстуке, написал за десятку опровержение, смысл которого был подсказан пострадавшим.

#### «СИБИРСКИЙ КОММЕРСАНТ

##### П. П. ГРОМОВ НЕВРЕДИМ

Во вчерашней заметке о смерти г. Громова вкралась досадная неточность. Заметка была составлена на основании рассказа психически ненормального громовского служащего И. Ф. Груздева, возвратившегося из бани и там, видимо, запарившегося. Мы сегодня лично навестили П. П. Громова. Он в шутливой форме рассказал нам, как накануне подвыпил с фабрикантом Ф. в одном из столичных ресторанов и, видимо, там отравился несвежей стерлядью. Возвращаясь домой, почувствовал себя скверно и лишился чувств. Не исключена возможность, что на него наехала карета, а может быть, и автомобиль, так как пострадавший впал в длительный трехчасовой обморок, который и был истолкован как естественная смерть. Таким образом, ни о каких мнимых жандармах, ни о какой уголовщине, к счастью, не может быть и речи. Редакция выражает г. Громову свое искреннее и глубокое сожаление в опубликовании неосмотрительной роковой заметки, перелагая свою невольную вину на совесть вышеуказанного психически больного Груздева».

Прохор выслушал, одобрил, прибавил репортеру еще десятку, и заметка получила блестящее завершение:

«Редакция, с своей стороны, считает своим долгом выразить неподдельную радость, что столь крупный коммерсант, как Прохор Петрович Громов, слава о больших делах которого все шире и шире распространяется по нашему отечеству, – здоров и невредим. Такие деятели европейского масштаба весьма нужны России. Просим другие газеты перепечатать».

– Отлично, – сказал Прохор. – Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще двадцать пять рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной.

Счастливый репортер, елико возможно изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой ледащий зад и, в знак высокого почтения к хозяину, стал, расшаркиваясь, выпячиваться спиной в дверь.

Полиция точно так же ничего не могла добиться от Прохора, кроме тех данных, что он поведал репортеру, и сверх сего ста рублей за беспокойство. Прохор отлично понимал, что трепать, позорить свое имя без всякой надежды на успех – невыгодно и глупо. Ну, что ж... всяко бывает. Он съел пощечину от стервы, претерпел побои от мерзавцев, – вперед наука. Он все отлично помнил, что в тот вечер происходило с ним, но ни слова ни тестю, ни Иннокентию Филатычу. Все шито-крыто.

А меж тем впоследствии, и очень скоро, вся подноготная докатилась до Парчевского и, чрез Наденьку, была доведена до всеобщего сведения.

Прохора пользовал первоклассный доктор. Побои сильные, втерпеж разве коню, но богатая натура Прохора все превозмогла: чрез неделю он был таким же бодрым, энергичным.

У Прохора Петровича деловые дни и вечера в заботах. Заседания, совещания, хлопоты – то в железнодорожном департаменте, то в учреждениях горного ведомства. Он присматривался к инженерам, к техникам. У него должны начаться большие работы по постройке крупных мастерских и оборудованию нового прииска. Помимо того – исполнение взятого подряда: про-

кладка двух шоссеиных дорог в тайге и железнодорожного пути к магистрали. Эта последняя миллионная работа – пополам с казной. С тремя инженерами и шестью техниками он заключил договоры. Через месяц они должны быть у него на месте. Путиловский завод заканчивал нужные Прохору механизмы, завод Сан-Галли – чугунные отливки.

Прохор приказал Иннокентию Филатычу собираться в путь-дорогу.

– А ты?

– Я через неделю следом. В Москву заехать надо. Механический завод в купеческом банке заложу.

– Зачем?

– Не знаешь? А еще коммерсантом себя мнишь... Балда!

Все втроем они два дня ходили по магазинам, выбирали подарки домашним. Прохор заказал у фабриканта Мельцера на десять комнат дорогую обстановку ампир, рококо, жакоб – карельской березы, птичьего глаза и красного дерева с бронзой. Иннокентий же Филатыч приобрел в дар Анне Иннокентьевне небольшое колечко с бирюзой и для украшения зальца – оригинальную никчemuшку: на каменном пьедестале бронзовая собачонка; в ее бок вделаны часы, вместо маятника – виляющий хвост, а в такт хвосту собачонка выбрасывает из пасти красный язычок. Старик мог бы закупить себе всякого добра, но он не при деньгах, а Прохор наотрез отказал ему выдать даже сотню, справедливо опасаясь, что Иннокентий Филатыч может на прощанье закрутить. Поэтому старик – большой любитель зрелищ – последний раз пошел в Александринский театр не в партер, а на балкон. Здесь с ним едва не приключилась большая неприятность. В антракте, перегнувшись чрез барьер, он наблюдал публику внизу. Вдруг:

– Миша! – закричал он. – Миша! Слышь, Миша... Вот глушня...

Миша в сером клетчатом пиджаке сидел с краешку, в местах за креслами, и читал газету. Иннокентий Филатыч попросил у соседа бинокль, и когда оптические стекла поднесли Мишу почти вплотную, старик заулыбался и тихо поприветствовал:

– Здравствуй, Миша! А я наверху.

Но тот – как истукан. Тогда Иннокентий Филатыч достал из кармана надкушенное крымское яблоко и пустил Мише в спину. Но рука пронесла, яблоко ударилось в шиньон рядом сидевшей с Мишей дамы. Старик быстро наставил бинокль, и его улыбочивое лицо вдруг вытянулось: вскочившие дама и Миша с негодованием глядели вверх. Отцы родные! Да ведь это совсем не Миша, не друг-приятель из Апраксина, у которого старик был вчера в гостях; ведь это какой-то бритый дед в очках.

– Ваша фамилия! Пойдемте.

И на плечо Иннокентия Филатыча легла рука квартального.

И там, на лестнице, после строгого замечания, старик за трешку был с честью отпущен на свободу.

– Вот история! Кого же это я огрел? – бранил себя огорченный Иннокентий Филатыч, не успевший досмотреть двух актов «Не в свои сани не садись».

## XI

Встреча была торжественная, неожиданная даже для самого Прохора. Встречали с колокольным трезвонком, как архиерея, с пушечной пальбой, как царя. День был праздничный. Несколько сот рабочих спозаранок стояли на площади возле дома Громовых: пригнали их сюда окрики стражников, поощрительное уверенье пристава, что будет выкачена бочка водки, а главное – укрепившаяся в народе басня, что у Прохора выбит правый глаз и по самое плечо вырвана левая рука.

С башни «Гляди в оба» видны все концы. И лишь одноногий бомбардир ахнул в пушку, из церкви, с толпой старух и баб, повалил к месту встречи крестный ход. Отец Александр придумал этот ловкий номер для укрепления в рабочих религиозно-нравственных чувств к своему хозяину.

После первого выстрела и колокольного трезвона сбежался почти весь народ. К общему разочарованию рабочих, Прохор вылез из кибитки цел и невредим. Приложился наскоро к иконе, ко кресту, поздоровался с женой, встретившей мужа по-холодному, поздоровался с дочуркой, со служащими.

– Папочка, а что мне привез? Папочка, волченька запертый сидит...

Ахнула вторая, за нею третья пушка, начался краткий молебен тут же, на лугу. Меж тем волк, поняв, в чем дело, с налету вышиб раму, выскочил на улицу и – прямо в толпу. Внезапным прыжком на грудь он сразу опрокинул молящегося Прохора и с радостным визгом, взлаиваньем, ревом бросился дружески лизать своему любимому владыке лицо, руки, волосы. Он мгновенно обсосал его всего, как пьяный плачущий мужик обсасывает своего друга. Минута замешательства прервала молебен. Толпа смешливо фыркала; многие, приседая, хватались за живот. Дьякон Ферапонт, бросив на полуслове ектенью, тихонько хохотал в рукав.

Волк пойман, уведен. Прохор отряхнулся, встал на свое место, на ковер, рядом с пасмурной своей женой, и укорчиво, углами глаз, взглянул в ее лицо. Нина покраснела. Проклятый этот волк!..

Потом пошло все своим чередом: дела, дела, дела. По Угрюм-реке зашумела шуга, и вскоре запорхали по всему простору белые снежинки.

Прохор и слушать не хотел Иннокентия Филатыча и Нину насчет возвращения Петра Данилыча на свободу. Настанет время, он сам поедет в психиатрическую лечебницу и посмотрит, чем дышит батька. А там видно будет.

Но вот до Прохора докатились слухи, что Парчевский многим лицам, даже десятникам и мастерам, показывал какое-то петербургское письмо, где описывалось, как Прохор попал в ловушку и был бит. Он понимал, что теперь по всем предприятиям идет тысячеустая молва о скандальном позорище его. Молчат пред ним как мертвые, а знают, мерзавцы, знают все, даже больше, наверное, чем было.

Будь проклят Питер, этот анафема Парчевский, будь проклята вся жизнь!

Такая уйма дела – голова идет кругом, в волосах Прохора стали появляться ранние седины. Нина заявляет какие-то там свои права, тихомолком фордыбачат рабочие, а тут еще эта дьявольская неприятность.

Что ж делать? Мигнуть Фильке Шкворню, чтоб раздробил в тайге Парчевскому череп? Рискованно и, значит, глупо. Пережитые Прохором позор, побои клещами ущемили душу, принизили его в своих собственных глазах. Но там, в Петербурге, выше головы заваленный делами, с нервами, взвинченными до предела, он так устал и замотался, что бессильно махнул на все рукой. Неотвязные вопросы: кто был генерал, кто жандармы? – день и ночь мучили его. Дуньку, тварь, Авдотью Фоминишну, ударившую Прохора в лицо, он будет помнить век. А вот кто те? Кто самый главный прощельга – поджигатель?

Как-то пригласил Наденьку на башню «Гляди в оба». Лицемерные ласки, перстенек, туманные обещанья вновь приблизить ее к себе – и через три дня нужное петербургское письмо в руках Прохора Петровича. Со смертельной злобой, кусая губы, несколько раз прочел, сказал: «Эге, молодчики!.. Так, так...» – и спрятал в несгораемый шкаф, в тайный ящик.

На званом обеде были все. Был пристав, Парчевский, Наденька и Груздев.

Прохор, как всегда, гостеприимен, старался казаться беспечным, даже веселым. Но это ему плохо удавалось:

какие-то тени скользили по лицу. Наконец из неустойчивого равновесия вывел его Протасов, заявивший, что здесь глушь, здесь царство медведей и духовной тьмы.

– Я завидую вам, Прохор Петрович, что вы окунулись, хоть ненадолго, в культуру, побывали в таком блестящем городе, как Петербург.

– Я ненавижу город вообще, а Питер в особенности, – нахмурился Прохор.

– Почему?

– Нахальства в нем много, хамства, какой-то паршивой самоуверенности.

– Город всю жизнь оседлать хочет. Я про столицу говорю. Город, по-вашему, это все: разум, культура, закон?

– Ну да, культура, цивилизация...

– А остальная земля – болото! Да?

– Ну, не совсем так. – Протасов сбросил пенсне и вытер губы салфеткой, готовясь к спору.

– А я вот нарочно! – запальчиво крикнул Прохор. – На тебе, на тебе, сукин ты сын! Не ты – главное на земле, а сила, воля, природный крепкий ум...

На вспышку хозяина Протасов подчеркнуто тихо ответил:

– Все, что вы создали здесь, дал город.

– Плюю я на город! – еще запальчивей возразил Прохор; кожа на его висках пожелтела. – Я не хочу быть его рабом. В городе что осталось? Песок и камень. Мысли его – песок, жизнь его – песок. Город – это каменный нужник, от которого...

Нина постучала в тарелку вилкой.

– Виноват, – принудил себя извиниться Прохор, провел по лохматым волосам рукой и – к Протасову: – А где там, в вашем городе, спрошу вас, натуральная поэзия? – как бы стараясь угодить нахмурившейся Нине, воскликнул он. – Где религия, воздух, горы, леса, искренние люди? Да ведь они, черти, изолгались там все. Взятка, мошенничество, подвох, обжорство! Сплошной вертеп... Зависть, драка, состязание в подлости, кто кого скорей обманет... Да они готовы друг другу в морды плевать!

Глаза Прохора стали красны. Он залпом выпил стакан холодного вина и как-то растерянно осмотрелся.

– О да, о да! – воскликнул мистер Кук. – Я вполне разделяю ваши мысли. Даже более того... Я...

– Нет, вы не спорьте, Прохор Петрович, – перебил его Протасов. – Вы знаете, что такое большой европейский город?

– Город – это я. Где хочу, там и построю город.

Протасов опустил взор в тарелку и надел пенсне.

– Выпьем за город! – перебила неловкое молчание Нина. – Прохор, налей всем. За город, за Пушкина и... за тайгу!

Все улыбнулись, улыбнулся и Прохор.

– Люблю женскую логику, – сказал он. – Ну что ж, я готов и за город и за Пушкина. Ваше здоровье, господа!

Он вновь повеселел или, вернее, заставил себя сделать это, желтизна на висках стала сдвигаться, складка меж бровями распрямилась. Подали глинтвейн. Нина разлила по бокалам. Пристав нетерпеливо отхлебнул, ожегся и с обидой посмотрел на всех. Парчевский подчеркнуто

кашлянул и подмигнул приставу: мол, так тебе, пся крев, и надо. Прохор шуточным тоном стал рассказывать кое-что из своей жизни в Питере; в самых невинных, конечно, красках рассказал и о том, как с ним однажды случился обморок и что из этого вышло впоследствии, какой неприятный для него казус. Иннокентий Филатыч, ведя тонкую политику, во всем ему поддакивал. Прохор принес из кабинета пачку газет.

– Вот, видите: здесь о моей смерти. А здесь – о воскресении. Ха-ха!.. Вот вам город...

Гости, краснея, смущенно засмеялись.

– Я думаю, что вся эта история в самом искаженном виде докатилась и до наших мест. Есть кое-какие слушки, есть... Вот. Поэтому... Я просил бы вас всех взять эти газеты и раздать их по баракам. Пусть рабочие похохочут, как ловко газеты врут. Берите, берите... У меня газет много: Иннокентий Филатыч, спасибо, постарался, пуда два купил.

Прохор со всеми очень любезно попрощался. Но наутро пан Парчевский получил расчет. Огорошенный, однако догадываясь, за что уволен, он не пожелал объясниться с Громовым, а в тот же день, захватив свою полученную от пристава тысячу, поехал в уездный город, за триста верст.

Там живут-поживают толстосумы, есть золотопромышленник. Да и картежная азартная игра теперь проникла и в эту глушь. Значит, все в порядке. Парчевский отведет душу и, чего доброго, станет богачом. Он поместился в тех же самых «Сибирских номерах», где когда-то жил Петр Данилыч Громов, купил двадцать колод карт и восстановил в ловких пальцах утраченную память игрока. Однако прежде всего Парчевский покорился сердцу.

Сердце дано человеку, чтоб всю жизнь, от начала дней до смерти, в непрерывном спасающем себя труде, день и ночь и каждую секунду точными сильными ударами проталкивать живую кровь по всему беспредельному государству-телу. В сердце трепет жизни. В нем, как в неусыпном центре бытия, – все добродетели и все пороки. В нем мрак и свет. Оно все во взлетах и падениях. Но над всем в порочном сердце человека главенствует месть.

Парчевский всю дорогу обдумывал план мести Прохору. То же самое распаляющее настроение гнездилось и в подсознании Прохора Петровича: бодрствующий разум весь в неотложной суете, а черный паучок непрестанно точит сердце, вьет черную паутину, – вьет, вьет, вьет, но сети рвутся: столичный враг далек, неуязвим.

«...И вот тебе расшифровка этого спектакля с передеванием: генерал – это управляющий богача Алтынова, П. С. Усачев, хват, каких мало. Жандармы – два приказчика. А дама в черном – любовница Алтынова, известная тебе Дуся Прахова. Главный режиссер и автор пьесы – сам Лукьян Миронович Алтынов».

Прохор весь трясется и горит. Волк поблескивает зелено-желтыми огнями глаз. За окнами башни крутит снег. Холодно.

И, с жадностью напившись горячего чая, Парчевский раскрывает свой кованный сундук. Вот оно, письмо, в тайном, скрытом на дне, ящичке. А где же копия, которую он хотел отправить дяде-губернатору? Она, кажется, в портфеле. Перетряс портфель, перетряс все вещи – нет. «О, Матка Бозка... Кто-нибудь украл...» Обескураженный Парчевский перечел петербургское письмо, с минуту подумал и решил послать Нине Яковлевне засвидетельствованную у нотариуса копию.

*«Глубокочитимая Нина Яковлевна.*

*Обращаюсь к Вашему ласковому, обильному правдой и милостию, сердцу. Я совершенно отказываюсь нащупать причины, вызвавшие несправедливый гнев ко мне Вашего супруга. Я никогда не осмелился бы вторгаться в Вашу личную жизнь, глубокочитимая Нина Яковлевна, но та симпатия, даже, скажу большие, та неистребимая в моей одинокой душе родственная привязанность к Вам заставила меня приподнять тайную завесу над кусочком нечистоплотной жизни того, кого Вы, может быть,*

*считаете гениальным человеком и, по незнанию штрихов его характера, любите. Совершенно доверительно и тайно посылаю Вам копию письма столичного друга моего, поручика Приперентьева. Прочтите, перестрадайте молча, и пусть Господь Бог поможет Вам выйти из тяжелого, ниспосланного Вам, испытания, выйти тропою, может быть, и тернистою, но на широкую дорогу свободной жизни. Если б Вам потребовалась дружеская крепкая рука помощи, то я, клянусь Девой Марией, готов сложить голову у Ваших прекрасных ног. Вечно, глубоко и безраздельно преданный Вам, несправедливо поруганный и горестно одинокий инженер В. Парчевский».*

Тучи надвигаются над башней. Тучи понадвинулись на Прохора – скоро-скоро он перекочует в свой теплый кабинет, в остывший дом, ближе к ледяному сердцу Нины.

Угрюм-реку по всему ее пространству в минувшую ночь сковало прочным льдом. Холодно кругом. Сердцу Прохора тоже невероятно зябко: какое-то странное предчувствие гнетет его.

## XII

Прошли недолгие сроки, а тайга на аршин покрылась снегом.

За это время Парчевский вдребезги проигрался, дважды слегка был бит и с посыпанной пеплом головой явился к Прохору Петровичу. Чуть ли не на коленях, унижая сам себя, втоптав в грязь былое чванство, он наконец вымолил у Прохора прощение. Разумеется, Прохор вновь выгнал бы его, но тут в судьбу Парчевского, тайно от него, вмешалась Нина.

– Ежели не примешь Владислава Викентьича, наживешь в губернаторе большого врага.

Призвав Парчевского, Прохор с глазу на глаз сказал ему:

– Хотите, я вас командирую в Петербург?

На этот раз у Парчевского заулыбалось все лицо и жесткие глаза обмякли. Над переносицей Прохора врезалась глубокая складка, а правая бровь приподнялась.

– Мне письмо Приперентьева известно. Что, что? Пожалуйста, без возражений. Да. Итак, вы получите от инженера Протасова инструкцию по командировке, – он схватил телефон. – Алло! Протасов? Будьте добры, ко мне! – и вновь к Парчевскому: – Вместо полтораэта, вам назначается жалованье в двести рублей. (Парчевский изогнулся в низайшем поклоне.) Ну, вот. Теперь ваш друг поручик Приперентьев, купец Алтынов и управитель его Усачев... Еще Дунька, любовница Алтынова. – Прохор пожевал кривившиеся губы, и голос его стал криклив. – Ежели вы представите неопровержимые доказательства, что все они как-нибудь опозорены: тюрьма, битье по зубам в публичном месте, – вы получите от меня... Ну... ну, сколько? Десять тысяч. А ежели Алтынов и Усачев – в особенности Усачев – будут спущены в Неву под лед, получите вдвое больше. Не стройте изумленных глаз и не тряситесь. Вы не девушка. Надо делать свою жизнь. Ну-с, дальше. В письме все наврано. Ни о каких жандармах не может быть и речи. Будьте уверены, что я поднял бы тогда на ноги весь Петербург. Мне министры знакомы. И вся эта сволочь торчала бы теперь на каторге. А просто заманили меня в свой притон, обыграли на большую сумму, а Дунька действительно дала мне, пьяному, невменяемому, по физиономии. Ну-с, жду ответа. Мне нужны преданные люди. Я вас оценю. Будьте смелы!..

Прохор почувствовал, как прокатился по его спине мгновенный озноб и черный опаляющий огонь охватил всю грудь. Кровь ударила в голову, глаза вспыхнули, как угли. Парчевский попятился от этих глаз.

– Согласны?

– Не имею возможности отказаться, – продрожал голосом побелевший инженер.

– Итак, до свиданья, Владислав Викентьевич.

Парчевский вышел.

Руки Прохора тряслись. Скрученная в его душе пружина – после разговора с Парчевским – вдруг стала выпрямляться. Неутолимая жажда мести жгла его. Он уже видел, как «генерал» ныряет вслед за своим хозяином в черный омут, как крутится Дунька, вся ошпаренная серной кислотой. Взгляд его стал жесток и холоден, все сознание переместилось в Питер.

У Прохора стучали зубы. Сжал кулаки и несколько раз выбросил руки вверх и в стороны. Но лихорадка не унималась. Пропала отчетливость соображения, и одна мысль: «Лечь, лечь в кровать, укрыться» – владела им.

...Пан Парчевский сразу же от Прохора отправился к Нине. Шел как автомат, весь в кошмаре. Старался очнуться от ошеломивших его слов хозяина и не мог этого сделать. Огненные глаза Прохора все еще преследовали его, стояли в сердце; черт его сунул так легкомысленно разболтать содержание письма! Но что же ему делать, и зачем он, в сущности, хотел видеть Нину? Нет, он должен ее видеть. Командировка в Питер, повышение жалованья и это безумное поручение. Кому? Ему, инженеру Парчевскому... Черт знает что!



Нина просматривала письменные работы школьников. Она одна. Парчевский, припав на колено, поцеловал ей руку. От его подбострастного поцелуя пошел какой-то неприятный ток к сердцу Нины. Она смутилась. Она не знала, как вести себя с этим до крайности взволнованным человеком.

– Сядьте.

Он, запинаясь и потупляя глаза в пол, рассказал ей, что между ним и Прохором Петровичем восстановился «статус-кво», что он командирован хозяином в Петербург. Он говорил ей, что письмо Приперентьева – наполовину ложное письмо, Прохор Петрович его опровергает. Приперентьев же человек ненормальный, пьяница.

– Тогда как же вы...

– Но мое личное письмо к вам есть крик моего сердца! В Петербурге я выясню истину всю и напишу вам.

– Ради Бога, не пишите, нет, нет... Достаточно того, что мне известно. Я очень страдаю, очень страдаю...

– Я глубоко сочувствую вам... Но, дорогая Нина Яковлевна! Надо делать свою жизнь... Ведь вы не девушка...

Приоткрылась дверь, просунулась голова Прохора и снова спряталась.

– Прохор, ты?

– Нет, не я, – слышалось сквозь крепко захлопнутую дверь.

Вечером помчались за доктором. Прохор слег.

Но время ли Прохору Петровичу хворать? Дела не ждут, надо кипеть в котле непрерывного труда, надо огребать лопатой барыши. Прохор через полторы недели был уже в седле, в санных, на лыжах. Он звякает золотом, спешит во все места; он здесь, он там, он не спит ночи, вновь надрывает силы, всех тиранит, всех терзает – и сам не существует по-людски и не дает вздохнуть другим. Ему от жизни взять нужно все. И, заглушая в себе совесть, он все берет.

Больших трудов стоило уговорить доктора перейти на службу в резиденцию Громова. Он все-таки сдался на приветливые убеждения Нины, ну, само собой, и на кругленький окладаец.

Вот, может быть, теперь рабочим будет легче умирать и выздоравливать. А смерть действительно валила рабочих без всякого стыда, без сожаления; смерть любит помахать косою, побренчать костями, где холод, мрак и нищета. Люди мрут, как на войне, кладбище в лесу растет.

Но смерть иногда и ошибается: нет-нет да и заглянет в палаты богача. Помер на своей родине Яков Назарыч Куприянов: внезапно – трах! – и нету. Хоронить отца Нине ехать не с руки: две тысячи верст на лошадях, – отложила поездку до весны, до первых пароходов. Смерть отца довела Нину до великого отчаянья. Единая наследница большого старинного дела – она не знала, кого туда вместо себя послать.

У Прохора на капиталы Нины разъярились глаза и сердце: он все бы съел один. Но Нина твердо сказала ему:

– Нет, дружок, что мое, то мое.

К окончательному разговору с женой Прохор подошел не сразу; он знал, что дело пахнет длительной борьбой: Нина упорна и упряма.

Еще не высохли слезы на глазах осиротевшей Нины, как Прохор стал ей делать первые намеки. Нина отмахивалась:

– Ради Бога!.. Только не теперь.

Миновало несколько дней. Для Прохора не прошли они даром; он прикидывал «на глазок» наследство Нины, мысленно вводил его в оборот; ему грезились золотые горы барыша.

Пили вечерний чай вдвоем. Прохор – к делу.

– Ты знаешь, – начал он, – наш механический завод я заложил за два миллиона. И уж больше половины денег ухлопано на заказы всяких машин, пароходов, драги. Триста тысяч

внесено в залог под обеспечение железнодорожного подряда. Понимаешь, Нина?.. И я теперь в большой нужде.

Губы Нины pokrивились. Прохор стал доказывать ей свое право на наследство. Нина это право с жестокой логичностью оспаривала. Она, может быть, откроет свое собственное предприятие. Она не особенно-то уверена, что, живя с Прохором, исполняет закон правды.

– Какой еще закон правды?! Бабы глупости, – было вспыхнул он, но тотчас же сдержался. – Нет, ты всерьез подумай, родная Нина... Какое бы ты дело ни начала, тебя всяк обманет.

– Я торговлю сдам на откуп, оба парохода сдам в аренду, ежели на то пошло, – стояла на своем Нина. – И свои собственные деньги употреблю, куда хочу...

– Да, да... Церковь новую построишь, колокол в тысячу пудов отольешь.

– Хотя бы.

– А ты мне дай власть, я тебе чрез три года золотой колокол отолью. Нам хватит, детям нашим останется. А мне деньги, повторяю, сейчас нужны.

Нина заговорила быстро, то и дело опираясь сползающую с плеч шаль:

– Прохор, я тебе писала... Ты мне не дал ответа. Так жить нельзя. Ты ослеплен наживой, ты не видишь, куда идешь. Так оставь же меня в покое! Пока ты не будешь человеком, пока ты не станешь для рабочих добросовестным хозяином, а не разбойником, – прости за резкость, я не с тобой, а против тебя.

– Дальше...

Нина передернула плечами, отхлебнула остывший чай.

– Запомни, пожалуйста, эти мои слова. И если любишь меня, веди себя так, чтоб мне не пришлось повторять их.

– Дальше! – И Прохор злобно усмехнулся.

У Нины сжалось сердце. Она не знала, что делать с руками. Она скомкала носовой платок и откинулась на кресле. Не в силах удержать себя, она крикнула:

– Я свои деньги все целиком употреблю на облегчение жизни твоих рабочих! Знай!

Правое веко Прохора задергалось, кожа на висках пожелтела. Он вытаращил глаза и, оттопырив губы, нагнулся к Нине:

– Ду-ра-а...

Нина вся взвинтилась и, сверкнув глазами, грохнула чайной чашкой об пол. Прохор легким взмахом руки смахнул на пол стакан. Нина швырнула молочник. Прохор сшиб с самовара чайник. Нина, вся задрожав, сбросила вазу с вареньем, Прохор хватил об пол сахарницу.

Все было перебито. Осколки – словно окаменелый, опавший цвет яблонь. На столе остался лишь тяжелый самовар. Прохор поволок Нину за руку к буфету, раскрыл дверцы:

– Бей! Твоя очередь.

Нина, всхлипнув, швырнула два блюда. Прохор схватил и грохнул об пол саксонский судок с горчицей и перцем.

Нина истерически взвизгнула:

– Мужик! Нахал! Он всю посуду перебьет...

У нее вырвался долго сдерживаемый стон отчаяния. Закрыв лицо руками, она быстро, быстро – в свою комнату.

Прохор, тяжело отдуваясь, пошел в кабинет, схватил пудовое кресло и с такой силой ударил им в печь, что кресло – в щепы, из печи вылетели два изразца, а волк, вскочив, залаял на хозяина. Прохор три раза огрел его плетью, волк распахнул все двери, опрометью вылетел чрез кухню на улицу и там страшно завыл от боли.

Прохор пил всю ночь один.

Этот скандальный случай на завтра же стал известен многим. Кто разнес худую славу? Наверное, побитый волк.

Ревностный подражатель недостижимым верхам – Илья Сохатых сделал попытку снять точную копию с печального происшествия. Однако это удалось ему только отчасти.

Пили в кухне вечерний чай вдвоем. Илья Петрович – к делу. Он всячески придирался к своей жене, стараясь, чтоб та первая грохнула об пол чашку. Но уравновешенная, здоровецкая Февронья Сидоровна шальных приемчиков мужа не понимала, а только молча удивлялась, что этакий колпак-мужишко мог выйти из ее повиновения. Она запихала в рот кусок постного сахара и стала наливать себе седьмую чашку. Илья Петрович вдруг вскипел, как самовар, крикнул:

– Это почему такое самовар пищит, как поросенок?!

– Тебя, дурака, не спросил. О-враам паршивый...

Тогда Илья Петрович молча швырнул свой стакан на пол.

– Ну?! Я спрашиваю!..

Супруга ничего со стола не пожелала сбросить; она усердно дула на горячий чай в блюдце и черным глазом артачливо косилась на Илью.

– Вы не понимаете даже, как в благородных домах скандалят! – взревел он и швырнул на пол вазочку с медом.

Тогда Февронья Сидоровна, выплюнув сахар на ладонь, поставила блюдце, сгребла супруга за густую гриву и дала такого пинка в зад, что Илья Петрович вылетел на свежий воздух и, восскорбев душой, завыл от неприятности подобно волку.

– Чего ты? – спросил проходивший Иннокентий Филатыч.

– Самовар нечаянно опрокинул, руку ожег, снегом хочу... А вы куда?

– Нина Яковлевна требует. Послезавтра еду на ейную родину, по коммерческим делам.

## XIII

Зима проходила в лихорадочной деятельности. Тайга валилась под топорами. Образовалось много «росчистей». Весной они будут выкорчеваны, вспаханы, засеяны пшеницей. Из глубины тайги к реке рубились для новых дорог и железнодорожной ветки просеки. День и ночь, в две смены по двенадцати часов, трудились здесь пятьсот лошадей и полторы тысячи рабочих. Надо было припасти лошадям фураж, людям – тепло и пищу. По всей округе, на сотни верст, скрипел под полозьями снег, крестьяне беспрерывно подвозили на место работ овес и сено. В горных участках приступали к добыче свинцовых и цинковых руд. Деньги из кассы Прохора уплывали как вода, а результаты еле видны. Прохор жил в каких-то душевных корчах, напрягая всю свою мощь.

Трещал мороз, стонала тайга от звяка топоров, ржанья коней, ночных костров, выстрелов и пьяных песен. Звери и зверушки бежали прочь, медведь переворачивался с боку на бок, кряхтя, выпрастывался из берлоги и, поджав уши, уходил на покой подальше.

Лес очищают от ветвей, по примитивным, в три бревна, временкам свозят к берегам, где уже подводятся под крышу три новых завода: лесопильный, для гонки скипидара и для пропитки шпал.

В трескучий мороз люди жили в брезентовых палатках, в самодельных тунгусских чумах, в землянках, вырытых в склонах падей и распадков. Люди мерзнут, болеют, мрут, люди проклинают десятников и стражников; десятники проклинают техников и инженеров; инженеры заочно проклинают Прохора. Прохор говорит:

– Раз тунгусы живут в чумах, бывают сыты и недохнут, то почему же рабочий требует себе дворцов? Недовольных гоните в шею. Только стоит свистнуть – пять тысяч новых набегит: отец родной, прими.

Ответ хозяина инженеры передали техникам, техники разъяснили десятникам, десятники и стражники стали запугивать рабочих. Рабочие в сотый раз проклинали Прохора.

– Подстрелить бы его, дьявола! – свирепел горячий.

– Остынь! – останавливал его холодный. – Какая тебе выгода? Ну, подстрелишь. Тогда и работе конец. Куда без хозяина? Хозяин все-таки кой-какой сугрев дает. Хоть того хуже злодей, а все ж таки хозяин, будь он трижды через нитку проклят. Потерпи чуток...

– У-у-у! – от яри грыз рукава горячий. – Терпеть? Врешь! Терпелка спортилась! Я пуп сорвал! Мы потроха себе надорвали все... У-ух-ты!..

Однако мороз трещал, нагаечка, грозя, посвистывала в воздухе.

Работы всем и каждому по горло. Машина большого предприятия пущена в ход умелой рукою, и каждый промах, каждая заминка сразу же отражались на всем деле. Но Прохор крут, инженер Протасов опытен и энергичен, машина предприятий шла пока что без перебоя.

Протасов составлял проекты, руководил постройками. В его распоряжении пятнадцать вновь прибывших инженеров и техников. Оберегая свою репутацию делового человека, он всегда осторожен в решении экономических вопросов: прикидывал и так и сяк, теоретически высчитывал, выгодна ли та или иная отрасль дела, и нередко давал совет Прохору бросить это, начать делать то и то. Однако Прохор всегда решал с маху, всегда играл ва-банк.

– Что, убыток? Ерунда! У меня убытку не будет.

Он смело бросал десятки тысяч на заведомо, казалось бы, провальную затею. Но какой-то счастливый случай всегда выручал его, – он становился победителем.

– С конца февраля наступает полоса большого снегопада. Необходимо заготовку леса прекратить. Иначе снег задавит вас, вы понесете убыток в несколько сот тысяч.

– Нынче снегу не будет, – наобум отвечал Прохор и вдвое увеличивал число рабочих.

И, как по волшебству, вплоть до будущей зимы снегу – ни пушинки. Прохор рад, Прохор мысленно кладет в карман миллионную добычу.

– Ну, знаете, вам везет! – со скрытым недоброжелательством говорит хозяину Протасов.

– Смелым Бог владеет, – отвечает опьяненный успехом Прохор и с некоторой грустью добавляет: – А мною, наверно, владеет черт.

– Возможно, возможно. – Протасов очень обидно для Прохора вздыхает и сожалительно причмокивает: – Эхе-хе!.. Да, да...

Прохор, как чрез лупу, насквозь видит настроение Протасова, и разговор сразу обрывается.

Мистер Кук в заботах, в деле, в рвении сильно поморозил себе нос. Вот пассаж! Теперь он долго не сможет показаться Нине. Но ведь он совершенно не в силах без нее существовать.

– Ифан! Больфан! О, виллэн... Где гусиный жир? Зови оччень скорей доктора. Ну!.. Оччень глупый русска поговорка: «Три носа, и все будут ходить...»

– Три к носу – и все пройдет, вашескородие...

– О, какое несчастье!..

Однако все благополучно: доктор утешительно сказал, что нос останется на прежнем месте, формы своей не утратит, хотя надо ожидать, что он будет несколько больше натурального и, к огорчению, приобретет устойчивый слабо-фиолетовый оттенок, как у пьяниц. Послав доктора в душе ко всем чертям и угостив его ямайским ромом, мистер Кук вновь зарылся в ворохах дел и неосуществимых своих выдумок, например он долго носился с мыслью использовать энергию одного бурного таежного потока, чтоб получить дешевый «белый уголь». Он еще осенью, в свободное от прямых занятий время, сделал рекогносцировочное обследование реки, составил приблизительный проект сооружения и всем совал в глаза свою затею, неотвязная мысль о которой обратилась для него в *idée fixe*.

К великому сожалению, мистер Громофф был тогда в Питере, затем, к великой радости, мистер Громофф в Петербурге умер. О! О! О! Наконец-то мистер Кук... А как знать? А как знать?! Может быть, мистер Кук удостоится внимания прекрасной мистрис Нины, может быть, она станет его женой. Недаром же старый хиромант негр Гарри, взглянув на его ладонь, воскликнул: «О мистер Кук... Вы найдете в России славу. О счастливейший из смертных, мистер Кук, вас ждут в России миллионы долларов...» Наконец-то его проект осуществится... Да что проект, он тогда составит и проведет в жизнь тысячу проектов. О! О! О!.. Но вот сокрушительный удар: мистер Громофф немножко жив-здоров, а счастливейший из смертных мистер Кук, миллионер, исчез с лица земли, совсем исчез. Гуд хэвенс <sup>2</sup>! О, проклятый Гарри!

И вот мистер Кук с трепетом представляет свой проект всесильному Прохору. И, к своему горячему восторгу, видит, как у Прохора заблистали глаза.

– Вы говорили с Протасовым?

– Официально нет... Я списывался с американской фирмой Ньюпорт-Ньюс... Получил чрезвычайное одобрение.

– А что... Дело ладное. Дело интересное. Надо попытаться.

– Мистер Громофф! Вы – гений.

Но приглашенный на совет инженер Протасов сразу же вдребезги разбил проект.

– Стоимость этой почтенной выдумки, я думаю, не менее двух-трех миллионов. Все оборудование, и в особенности турбины, пришлось бы заказывать за границей. А главное, зачем нам ваш «белый уголь», когда мы захлебнулись океаном тайги? Жги сколько хочешь.

Убийственное уныние растеклось по лицу мистера Кука. Мистер Кук едва не упал со стула.

---

<sup>2</sup> От англ. Good Heavens! – Великий Боже! – *Ред.*

– Вы, мистер Протасов, гений... Ит из сплендид<sup>3</sup>... – расслабленно прошептал он, потирая вспухший нос.

Прохор видел страшный сон: голое поле, черная яма, из ямы кольцами выползали змеи. «Вот он здесь», – шипели они. – «Я знаю, – отвечал офицер Приперентьев, – я его возьму».

Прохор испугался сна; он вообще стал какой-то нервный и встревоженный. На имя Парчевского тотчас полетела телеграмма:

*«По окончании служебной командировки немедленно возвращайтесь. Точка.  
Мои личные поручения отменяются. Громов».*

Отчасти сон был в руку. Офицер Приперентьев, узнав от Парчевского подробные сведения о золотоносном участке, возмечтал потягаться с Прохором и возбудить встречную претензию, чтоб вновь приобрести утраченное право на владение забытым прииском. И вышло весьма удачно: колесо фортуны катилось прямо ему в руки; он выиграл большую сумму денег и задумал дать контрвзятку сребролюбивому сановнику. Все это он устроит чрез Авдотью Фомишину. Скольким бесом она вотрется в дом баронессы Замойской и – дело в шляпе.

В теплой беседе с паном Парчевским, близким другом по зеленому столу, он наобещал ему с три короба.

– Будем работать вместе, как два компаньона. Я имею великолепные связи с золотоприисковым миром. Подберем опытных служащих и раздую кадило так, что ваш Громов треснет от зависти.

Инженер Парчевский развесил уши, опять потонул в заманчивых мечтах и кончать командировку медлил. Он предпочитал вернуться не служилой сошкой, а полноправным хозяином выгодного дела, где все будет поставлено на гуманных началах, где рабочим предоставляются широкие права на человеческое существование. Пусть пани Нина посравнит условия труда рабочих у них и у себя, пусть сделает из этого соответственные выводы: она, может быть, найдет тогда возможным порвать жизнь с мужем и вступить с своими капиталами в непятнанную фирму «Парчевский, Приперентьев и компания». А в дальнейшем, надо полагать, офицеришка сопьется; тогда, пожалуй, можно будет офицеришке и «киселя под зад».

Нина получает от Парчевского четвертое письмо, но с ответом медлит, писать не хочет.

Меж тем подходила Масленица. Дни стали лучезарны, кругом звенит капель. А ночами все небо в звездах, и расслабевший Дед Мороз, предчувствуя скорую свою кончину, старается напоследок щипануть людишек то за уши, то за нос.

Масленица! Какое странное, полуязыческое слово. И каким полнокровным бытием, какой гаммой невинных чувств и наслаждений когда-то звучало оно для Нины-девушки. Блины, смех, тройки, музыка и плясы. Но все это безвозвратно отодвинулось в далекое ничто: теперь у Нины-женщины другие пути, другие задачи и желания.

Иннокентий Филатыч писал ей, что доехал он благополучно, что маменька Нины жива-здорова, правда, печалится очень и ждет весной свою дочь к себе, что на могиле Якова Назарыча отслужил панихиду за упокой его души. Иннокентий Филатыч также сообщал, что из десяти торговых отделений по уезду он успел объехать с учетом только пять, все в полном порядке и благополучии, доверенные – народ весьма надежный. Что же касается денежных дел, то свободной наличности в банке оказалось немного – всего двести семьдесят пять тысяч, из коих сто тысяч, по приказу Нины, он сегодня переводит ей. Три каменных городских дома, две лавки и три дачи по реке в бору требуют малого ремонта. Оба парохода и пять барж стоят на зимовке; они законтрактованы на всю навигацию министерством торговли и промышленности

---

<sup>3</sup> От англ. It's splendid – блестяще. – Ред.

за шестьдесят тысяч. «Всего же наследства, совместно с прииском, покойный папенька Ваш, царство им небесное, Яков Назарыч, изволил оставить Вам, бесценнейшая Нина Яковлевна, по моим примерным подсчетам, так что больше двух миллиончиков».

Нина сразу почувствовала свою независимость и свой вес в жизни. Она вспомнила недавний разговор с многосемейным слесарем Провом: «Ты баба ладная, ты отколись от мужа, встань над ним, зачинай свое дело небольшое». Спасибо мудрому Прову на совете. Теперь она имеет крупные козыри в руках, чтоб бить любую карту мужа.

Муж рыл для рабочих новые землянки, Нина строила на свои средства светлые бараки. Муж, с согласия губернатора, сооружал на окраине поселка деревянную тюрьму, Нина приступила к постройке больницы на сто коек.

В постройках Нине помогали инженер Протасов и двое передовых, хорошо грамотных десятников из рабочих. Оба они взяли расчет в конторе Громова и перешли на работу к Нине. У нее двести человек собственных рабочих. Она платит им столько же, сколько и Прохор, но заботится о них как мать.

Эти деяния Нины все более и более раздражали Прохора. Он никак не ожидал от нее такой прыти. Он удивлен, не по-хорошему взволнован.

– Слушай, мать игуменья, всечестная строительница, – как-то сказал он ей. – А ведь ты мне ножку подставляешь. Ты своих рабочих уж слишком того... Как бы это тебе сказать... Пирогам кормишь... Боюсь, что мои роптать начнут.

– А ты поступай так, чтоб не роптали.

– Тебе легко, мне трудно. Ты играешь в благотворительность, а я на них наживаю капитал.

– Зачем тебе он?

– Чтоб расширить и утвердить дело. Я должен же в конце концов забраться на вершину.

– Смотри, чтоб не закружилась голова.

– Моя голова крепкая.

В общем, на этот раз кончилось все благополучно.

Нина продолжала свое пока небольшое дело, Прохор свое: рубил тайгу, вздымал пласты, опрокидывал скалы. И с горечью в сердце посмеивался над затеями Нины.

## XIV

Но вот налетела с румяной веселой харей, сдобная, разгульная, в красном сарафане, Масленица. На два дня заброшены все заботы, и – дым коромыслом над тайгой. Русское разливное гулевание, как и встарь в селе Медведеве при Петре Данилыче, началось с обжорства: чрез всю масленичную неделю катились колесом тысячи блинов. Тайга на много верст кругом пропахла блинным духом. Белка морщилась в дупле, медведь чихал в берлоге. Бродяги, спиртоносы и всякий темный люд, приняхиваясь, раздувая ноздри, спешили из таежных трущоб поближе к веселым людям: авось блинок-другой перепадет, авось подвернется случай кому-нибудь перерезать горло и вывернуть карманы.

Званные вечера, блины, ряженные: цыгане, медведи, турки, а ночью – катанье с гор. Прохор Петрович выстроил с крутого берега реки гору на столбах, она вихрем мчала на своей спине укрытые коврами сани на целую версту. По бокам пылали костры, горели смоляные бочки, факелы и сотни разноцветных фонарей. Вверху, на горе, гремел духовой оркестр. Чтоб музыканты не застыли на морозе, им отпущен бочонок водки. Трубы, флейты под конец начали сбиваться, и два барабана гремели невпопад.

Протасов, Прохор, Нина с Верочкой, мистер Кук и волк катались с горы на одних санях. За ними, на изукрашенной кошевке – Манечка, дьякон Ферапонт и хохотушка Кэтти. В ней большая перемена: она резва, игрива, всю кокетничает с дьяконом, а маленькая Манечка ревнует, злится.

– А вот уж я вас на троечке... О-го-го-го!.. – гудит дьякон как из бочки. – Все языцы, восплещите руками!

За дьяконом мчится на санях-самокатах одетый Осман-пашой пьяный Илья Петрович Сохатых. Покачиваясь, он стоит дубом, размахивает бутылкой и орет, как козел на заборе:

– Яман! Якши!.. Ала-ала-ала!..

Его поддерживают за красные штаны и за ворот Февронья Сидоровна с Анной Иннокентьевной, две сдобные, как Масленица, бабы.

– Анюта! Анна Иннокентьевна! – взывает захмелевший Прохор. – Мармелад! Залазь к нам...

– Ала-дыра-мура! – козлом блеет Илья Сохатых. – Секим башка!.. Она мой гарем!.. – и под озорные крики летит кубарем из саней.

Визг, хохот, веселая пальба из ружей. А за санями еще, еще сани, кошевки, салазки, кучи ребятишек, кучи парней и девок. Писк, шум, песня, поцелуйчики...

– О, о! До чего оччень люблю самый разудалый Масленица! – восклицает мистер Кук. – Оччень лючший русский пословиц: «На свои сани не ложись!»

Он не знает, чем и как угодить Нине: и муфту поддержит, и ноги прикроет шубой, и все заглядывает, все заглядывает в ее глаза, тужится заглянуть и в сердце, но сердце богини замкнуто и холодно как лед.

– Берегите нос, – говорит она.

– О да!.. О да... Благодарю вас оччень. Мой нос – мое несчастье, – и утыкается раскрасневшимся лицом в енотовый пушистый воротник.

– Мамочка, волченька хвостик отморозил, – сюсюкает быстроглазая Верочка. – Он лижется.

Прошли два угарных дня, две ночи. С Кэтти что-то случилось; да, да, что-то такое стряслось странное, загадочное. Какие-то игривые грезы во сне и наяву будоражили ее, как хмель. Ох, уж эта Масленица! Ох, уж эти двадцать пять тишайших девических годков...



Манечка на целую неделю уехала в гости к тетке в ближайшее село. Ну, что ж, это ничего, это отлично, это замечательно.

Вот и яркая звезда зажглась, вот и месяц серебрит просторные пути. Дьякон Ферапонт нанял ямскую тройку и мчит к заветному крыльцу. Дубом воздвиг себя в санях, как колокольня, шапка набекрень, шуба нараспашку, забрал в левую горсть вожжи, в правой – кнут, в зубах – большая трубка, в передке саней – четвертуха водки и пельмени. Хо-хо, то ли не дьякон Ферапонт!

Может быть, и верно, – отец дьякон, а может, – искусный конокрад-цыган. Гей, гей, Манечка, люди, ямщики, летите за цыганом-похитителем в погоню!

– Ка-хы! – ухмыляясь в бороду, по-цыгански ухает великолепный Ферапонт, и – кони у крыльца.

Стук-бряк в звонкое колечко у ворот. Выходит она, закутанная в беличью, вверх мехом, шубку. Высокая и легкая. На голове пепельно-серая, с лунным голубым отливом, оренбургской шерсти шаль.

– Похищайте, похищайте, злодей, – говорит она и тихо смеется.

Ферапонт не знает, что отвечать, он радостно кричит: «Ка-хы!» И кони, вздрогнув, пляшут.

Вот кнутик свистнул, тройка взвилась и – ходу. Голубая пыль, блески, бриллианты. Лобастый месяц поднял правую бровь и ухмыльнулся. Колдун ты, месяц! Ты старый, облысевший блудень, потатчик любовных шашней и сам первый в грешном мире потаскун...

Меж тем Нина Яковлевна всполошилась: в семь часов назначен оперный спектакль – отрывки из «Снегурочки», где дьякон Ферапонт, с вынужденного благословенья священника, должен играть Берендея.

Было признано, что по внешнему виду дьякон точь-в-точь – царь Берендей. А так как хороших, со сценической внешностью, теноров не нашлось, то волей-неволей решили теноровую партию Берендея спустить на басовый регистр. А что ж такое? Тут не императорский театр... Сойдет!..

Репетиции шли целый месяц, Снегурочку пела молоденькая жена инженера Петропавловского, Купаву – Нина, в Мизгири просился Илья Сохатых, но, по испытании его голосовых средств и слуха, ему запретили даже участвовать в хоре. Роль Мизгирия отдана письмоводителю из ссыльно-политических Парфенову-Раздольскому, бывшему провинциальному певцу. Он главным образом и руководил постановкой пьесы. Церковный хор прекрасно справился со своей задачей. Весьма украсили спектакль и учащиеся в школе.

Представление должно состояться в народном доме, выстроенном Ниной и вмещающем в себя полтысячи зрителей.

Все сбились с ног в поисках пропавшего дьякона, обошли все тайные притоны, всех шинкарок, стражники колесили по тайге, свистали в свистки с горошинкой, одноногий Федотыч даже брякнул из пушки – авось дьякон услышит, вспомнит. Ах, чтоб его бес задрал!

А месяц с неба лукаво подмигивал бровями: «Знаю, мол, где дьякон, да не больно-то скажу».

...Проскакали гладкою дорогою верст двадцать и свернули к зверовой избушке-зимнику. Вмысленные кони пошли шагом. Зимовье – приземистая избушка с дымовым оконцем и низкой дверью. Звероловы коротают здесь долгие зимние ночи. Возле двери – сухие дрова-смолье. Дьякон берет охапку, разводит в каменке огонь. Зимовье топится по-первобытному: трубы нет, едучий дым набивает избушку сверху донизу, нет сил дышать. Дева сидит в санях, в густом кедровнике, мечтает. Сквозь хвою в черном небе горят далекие миры. «Что вы, кто вы?» – вопрошает она, запрокидывая охваченную жаром голову, но звезды безмолвны, грустны.

Дьякон стоит на карачках возле каменки, дует на костер, горько от дыма плачет. Когда накалятся камни и прочахнут угли, тогда дым выйдет вон, глаза обсохнут, можно пировать.

«Дым», – созерцает она и морщит носик. «Дым валит из оконца, из распахнутой двери. А мне хочется есть и... пьянствовать». Сердце ее сладко замирает: лес, звезды, избушка – колдовство. Может быть, в книжках красивее, но здесь острее. Ха-ха, Ферапонт!.. Надо ж так придумать. Пусть все узнают, пусть Манечка ударит ее по щеке – она готова ко всему. Эксцентрично? Да. Вот в этом-то и весь фокус... «Ха-ха, не правда ли, пикантно?»

Она закрывает глаза, прислушивается к себе. Возле нее – медведь, огромный, черный.

– Сейчас буду варить пельмени, – говорит медведь и вытаскивает из саней два тюричка. – А я как на реках Вавилонских, знаете. Тамо седоном и плакачом. Дым, жар... Аж борода трещит... Ох, ты!

Она не слышит, что говорит медведь. От медведя пахнет дымом и чем-то странным, но слово «пельмени» вызывает в ней обильную слюну. Она открывает глаза.

– Ферапонт Самойлыч, вы дивный.

– Дивны дела твоя, – по-церковному отвечает из зимовья медведь и, помедля, кричит: – Уварились!

Он берет ее на руки и вносит в зимовье. Звезды готовы рассказать свою тайну – «кто вы, что вы?» – но девы в санях нет, звезды рассказывают тайну лошадям. Лошади внимательно слушают, жуют овес.

В избушке горят две свечи. По земляному полу – хвой, на хвоях – ковер. Дева сбрасывает шубу. Дьякон преет в рясе. Пельмени с перцем, уксусом аппетитны, восхитительны. Дьякон жадно пьет водку и каждый раз сплевывает сквозь зубы в угол. Дева хохочет, тоже пьет и тоже пробует сплюнуть сквозь зубы, но это ей не удается; она вытирает подбородок надушенным платком.

– Вы, краса моя, откройте зубки щелочкой и этак язычком – цвык! Я горазд плевать сквозь зубы на девять шагов.

Дьякон восседает на сутунке, как на троне, и все-таки едва не упирается головою в потолок: он могуч, избушка низкоросла.

– Говори мне – ты, говори мне – ты, – кокетничает голосом начинающая хмельть дева.

– Сану моему не подобает, извините вторично, – упирая на «о», гудит дьякон. – Окромя того, у меня дьяконица... Обретохом яко козу невелику...

Дева хохочет, припадает щекой к рясе Ферапонта, тот конфузливо отодвигается.

– Ах, простите вторично... Вы чуть-чуть опачкали щечку сажей... Дозвольте. – Он смачивает языком ладонь, проводит по девичьей щеке и насухо вытирает сырое место прокоптевшим рукавом. Щека девы покрывается густым слоем копоты. Дьякон готов провалиться сквозь землю, но, скрывая свою неловкость, говорит с хитринкой:

– Вот и побелели, душа моя. Даже совсем чистенькая, как из баньки.

– Ты не Ферапонт... Ты дьякон Ахилла. Лескова читал? Знаешь?

– Лесков? Знаю. Петруха Лесков, как же! Первый пьяница у нас на Урале был.

Она взвизгивает от смеха и норовит обнять необъятную талию дьякона. Тот не сопротивляется, вздыхает: «Охо-хо» и говорит:

– Греховодница ты, девка.

– Ты любишь жену?

– Известное дело. А как иначе?

– Злой, злой, злой!.. Нехороший ты... – Она стучит кулачком по его тугому колену, кулачок покрывается сажей, а сердце мрет.

– Караул! Пропал я... – вскочил дьякон и крепко ударился головой в потолок. Как черный снег полетели хлопья копоты. – Берендей! Спектакль! Снегурочка!.. Ой, погибла моя башка!

Дева от задорного, разжигающего смеха вся распласталась на ковре.

– Ферапонт!.. Нет, вы прекрасны... Ха-ха-ха! А я нарочно... Я знала... Иди сюда, сядь. Там и без тебя сыграют.

...Берендея пришлось играть басу церковного хора Чистякову. Он пьяница, но знал ноты хорошо. В накладном седоволосом парике и бородище, увенчанный короной, в белой мантии, он сидел на троне, держал в руках выписки клавира и в диалоге со Снегурочкой помаленьку подвирал. Но хороший аккомпанемент рояля и великолепная Снегурочка спасали дело.

В передних рядах была, во главе с Протасовым, вся знать. Прохор сидел за кулисами, пил коньяк, любезничал с девчонками, отпускал словечки по адресу доморощенных артисток. Рабочие с наслаждением не отрывали от сцены возбужденных глаз. Правда, кой-кто подремывал, кой-кто храпел, а пьяный, затесавшийся в задние ряды золотоискатель Ванька Серенький даже закричал:

– Жулики!.. Нет, вы лучше плату нам прибавьте!

Но его быстро выволокли на свежий воздух.

Купава – Нина внимательно шарила взглядом по рядам, вплоть до галерки, – ее подруги не было.

– А где же Кэтти?

Кэтти утешала неутешно скорбящего дьякона. Оплывавший Ферапонт лежал рядом с нею вниз животом, закрыв ладонями лицо. Голова великана упиралась в угол, а пятки в каменку. Плечи его вздрагивали. Кэтти показалось, что он плачет.

– Рыцарь мой!.. Дон Жуан... Д'Артаньян... Ахилла, – тормошила она ниц поверженного дьякона. – Не плачь... Что с тобой?..

– Оставь, оставь, живот у меня схватило. Режет, аки ножами булатными.

– Ах, бедненький!.. Атосик мой... Портосик мой...

Дева хохочет, дева тянет из фляжки крепкую, на спирту, наливку.

– Пей!.. Рыцарь мой...

Дьякон, выпростав из-под скамейки голову, пьет наливку, крикает, пьет водку. Свечи догорают, кругом колдовские бродят тени. Слабый звук бубенцов, колокольчик трижды взбрякал – должно быть, лихой тройке наскучило стоять. А в мыслях полуобнаженной девы эти звуки как сладостный соблазн. Вот славные рыцари будто бы проносятся вольной кавалькадой; латы их звенят, бряцают шпаги...

И там, зеленою тайгой, тоже мчится черный всадник... Ближе, ближе. Кони храпят и пляшут, храпит дьякон Ферапонт.

А витязь на крылатом скакуне вдруг – стоп! – припал на одно колено и почтительно преподносит ей букет из белых роз. «Миледи, миледи, – шепчет он и целует ее губы. – Мое сердце, миледи, у ваших ног».

– Милый, – замирает Кэтти, по ее лицу, по телу пробегают волны страсти, она улыбается закрытыми глазами и жарко обнимает Ферапонта. – Ну, целуй же меня, целуй!

Невменяемо пьяный дьякон бьет пяткой в каменку, взлягивает к потолку ногами и бормочет:

– Оставь, оставь, дочь погибели! Мне сан не позволяет.

Дева всплескивает руками, дева обильно плачет, пробует встать, но хмель опрокидывает ее.

Весь мир колыхнется, плывет, голова отделяется от тела, в голове жуть, хаос, сплошные какие-то огни и взмахи; и сердце на качелях – вверх-вниз, вверх-вниз. Деву охватывает жар, страх, смерть. Сейчас конец. Все кувыркается, скачет, гудит. Сильная тошнота терзает деву.

– Мучитель мой, милый мой Ахилла... Ты все... ты всю... Да если б я... Дурак!.. Ведь это ж каприз... Мой каприз... Да, может быть, я семь лет тому... ребенка родила!..

– Сказывай, девушка, сказывай... Сказывай, слушаю, сказывай... – гудит заросшая тайгой басистая пасть Берендея.

...Филька Шкворень слушал, Прохор сказывал:

– Подлец ты, из подлецов подлец. Я знаю, как ты при всем народе срамил меня. Так кровосос я? Изверг я? А? Что ж, тебя в острог, мерзавца? Тюрьмой тебя не запугаешь. Волка натравить, чтоб глотку перегрыз тебе. Тьфу, черт шершавый!.. Что ж мне с тобой делать-то? А я тебя, признаться, хотел в люди вывести... Поверил дураку. Никакой, брат, в тебе чести нет.

Верзилу от волнения мучило удушье. Он глубоко дышал, втягивая темно-желтые щеки. Потом поднял на Прохора острые с вывернутыми веками глаза и ударил кулачищем в грудь:

– Прохор Петров!.. Поверишь ли?.. Эх, язви ты!.. Накладывай, как поп, какую хошь питимью, все сполню и не крякну. Да оторвись моя башка с плеч, ежели я...

– Поймай цыгана. Знаешь? Того самого. И доставь сюда..

– Есть!.. Пымаю.

Впрочем, этот разговор происходил давно, вскоре же по приезде Прохора из Питера.

...А сейчас глубокое ночное время – сейчас в доме Громовых самый разгар бала – после «Снегурочки» и доморощенного концерта. Съезд начался в одиннадцать часов. Гремела музыка, крутились танцующие пары, сновали по всем комнатам маскированные, у столов – а-ля фуршет, хватай, на что глаза глядят, – всем весело, всем не до сна, а Кэтти спит, не улыбнется.

Ферапонту снится страшное: будто сам владыка-архиерей мчит на тройке, ищет, не находит дьякона, повелевает: «Властию, мне данною, немедленно расстричь его, лишить сана, обрить полбашки, предать анафеме».

А за владыкой – черный с провалившимся носом всадник. Кто-то переводит стрелку с ночного времени на утро. Безносый черный всадник проскакал и раз и два. И вслед ему чертова собачка весело протявкала: «гам, гам, гам!»

Лай, собачка, лай! Ночь линяет, гаснет. Брякает бубенцами тройка, не стоит.

А как выросла над тайгой весенняя заря, бал кончился, насыщенные вином и снедью гости разбредались, – Кэтти открыла полусонные глаза. В избушке холодно. Дьякон Ферапонт храпит с прихлюпкой, сквозь дверные щели льет голубеющий рассвет. Кэтти вздрогнула, быстро надела беличью шубку, отыскала в сумке зеркальце, вышла на волю, ахнула – возле избушки пустые сани.

– Лошади! Где лошади? Дьякон, да проснитесь же!!

Кэтти беспомощно заплакала: ей больно, горько и обидно.

Так прошла эта лихая ночь. Бродяга-месяц давно закатился в преисподнюю ночлежку на покой. Над миром вечнозеленых лесов блистало солнце.

## XV

Медленно раскачиваясь, время двигалось вперед, дороги портились, Нина Яковлевна собиралась в отъезд. Прохор о разлуке с женой нимало не грустил, но стал с ней подчеркнуто вежлив и внимателен. Нина по-своему расценивала перемену в нем, она старалась удерживать фальшивые чувства мужа на почтительной от себя дистанции.

Уныло перезванивали великопостные колокола. После шумной гульбы на масленой для рабочих настал теперь великий пост. По приказу Прохора цены во всех его лавках и лабазах привскочили, а ничтожный заработок – в среднем до сорока рублей в месяц – оставался прежний. Шел скрытый в народе ропот.

Когда вздорожали хозяйские товары, полуголодные рабочие стали забирать у частных торгашей. К трем бывшим в поселке вольным лавкам быстро присоединились из дальних мест новые богатенькие прасолы; они доставляли товары на возах, располагались табором в тайге, на приисках, вблизи заводов. Тут же появились спиртоносы. Черный безносый всадник с своей черненькой собачкой, меняя золото на спирт, шмыгал взад-вперед и был неуловим, как ветер.

От Прохора приказ: гнать торгашей в три шеи. Ретивые урядники, получавшие от конторы сверх казенного оклада большие наградные деньги к Рождеству и Пасхе, круто принялись за дело. Возы с товарами опрокидывались, торгашей выпирали за пределы работ, упорных пороли нагайками. Изгнанные с одного участка, они перебирались на другой и, побитые, поруганные, превращались силой обстоятельств из покорных верноподданных царя в заядлых крамольников. Тайно продавая с барышом товар, они подзуживали рабочих:

– И чего вы, ребята, смотрите на ефти самые порядки?.. Хозяин – мазурик, урядник с приставом – холуй. Да и вся власть-то, должно быть, что такая...

Судья тоже получал от конторы смазку: имел казенную квартиру с отоплением и освещением да за «особые услуги» наградные. Впрочем, все чины, поставленные от правительства для защиты интересов рабочих: инспектор труда, казенный инженер, судья, следователь, почтово-телеграфные чиновники, нотариус, даже казачий офицер, даже сотня казаков, охраняющих в пути караваны золота, – все они так или иначе были подкуплены Прохором Петровичем, и каждый из них, дорожа своим местом, по мере сил мирволил беззаконию.

Так ловко смазывалась поставленная от правительства машина.

...И совершенно неожиданно, нарушая светлый ход весны, с утра задул западный ветер, поднялась белоснежная пурга. Сначала низом полз поземок, затем ветер нагнал густые тучи – и замело, и закрутило.

Казачий конвой в тридцать всадников выступил в поход. Десять повозок с золотом, сданным Прохором казне, потонули в снежной выюге. Таежный путь в метель опасен, но кони выносливы, казаки бдительны и зорки.

– С дороги, с дороги! – помахивал нагаечкой гарцевавший впереди каравана казачий офицер.

Встречные огромные, как дом, возы с сеном спешно сворачивали в сторону, мужики удивленно пялили глаза: десять, порожняком, повозок.

– За чем, солдатики, едете? За рыбой, что ль?

– За чем надо, за тем и едем... Проваливай живей!..

Запряженные парами повозки действительно с виду совершенно пусты; лишь в задке небрежно кинута опечатанная свинцовыми пломбами небольшая кожаная сумка, в ней малый слиток золота пудиков на двадцать пять.

Спуск в глубокую глухую балку.

– Слуша-а-а-й!.. Вынуть винтовки из чехлов!..

– Есть! Есть! Есть!

Балку миновали благополучно. Ветер стихал, пурга смягчалась. Но в сердце Кэтти пурга крутила, как в тайге. И внутренне крутась и припадая перед Прохором на одно колено, печальный дьякон Ферапонт поведал ему о своем великом горе:

– Поехал вчера прокатиться один на один да изрядно выпил, так в санках и уснул, как зарезанный каплун. А утром продрал глаза, глядь – а коней нет.

Волк улыбнулся. Прохор от души захохотал.

– Скажи ямщику, что деньги за тройку уплатит контора. Я позвоню. – И, подмигнув дьякону, спросил: – Так один, говоришь, ездил-то?

– Как перед Богом... Вот!

Значит, все шито-крыто. Дьякон – в рот воды. И никто, кроме украденной тройки и серебряного месяца, не знал о проделках Кэтти. Юная с виду Кэтти – почти ровесница своей подруге Нине Громовой. Она безвыездно прожила в тайге четыре года. Затянутая в корсет институтских нравов, эта наивно-мечтательная девушка вдруг с наступлением весны ослабила тесную шнуровку, вдруг открыла свое сердце навстречу новым, опьяняющим ветрам. Ей, созревшей в теплице измышленных условий, надо еще многое вкусить и перечувствовать, чтобы сравняться с Ниной в усадках, в огорчениях жизни. А время не ждет, а кровь бушует. И этот искусный совратитель пан Парчевский не раз склонял ее к греху: «Жизнь коротка, надо пользоваться ее благами». Бедная крошка Кэтти, бедный неопытный ребенок... Что же с нею будет? Парчевский зажег в ней лукавую мечту и скрылся, сердце Протасова занято другой, мистер Кук отморозил нос. А Прохор Громов? О нет, нет, это невозможно: он груб, он душевно грязен, да крошка Кэтти лучше умрет, лучше кинется головой в прорубь, чем позволит себе предать свою подругу Нину. Нет, нет, нет!..

И вот дневник:

*5 февраля. Суббота.* Ровно две недели до Масленицы.

Чувствую по ночам тяжелое томление. Сердце стучит, стучит. Я вся в тоске, вся в слезах.

Кого-то нет, кого-то жаль,  
К кому-то сердце мчится вдаль...

Когда лежу в кровати, хочется нежиться и бесконечно мечтать о чем-нибудь высоком. Но вдруг всю меня пронзит какой-то испепеляющий огонь, книга летит к черту, я падаю на грудь, я рву зубами подушку, я вся в адских корчах; хочется орать, свистать, безумствовать. Боже, что со мной? Я сумасшедшая или просто истеричка?

Вечером потянуло к нему. Он один, уставший.

*«Конспект разговора»:*

*Он.* А! Вы?! Рад, рад... (Поцеловал руку.)

*Я.* (Бросилась ему на грудь, заплакала.) Я люблю вас, люблю, люблю...

*Он.* Кэтти, милая, что с вами? (Лицо его вытянулось, он сел.) Зачем же плакать?

*Я.* Вы любите другую.

*Он.* Хотя бы... Но, кажется, нет.

*Я.* Тогда любите меня. Я больше не могу. Я – ваша... (В глазах моих потемнело, я повалилась на кушетку. Когда очнулась, он сидел возле меня, держал в своих руках мои похолодевшие пальцы, целовал их, гладил мои волосы.)

*Он.* Знаете что, Кэтти, милая?.. Я дам вам бром, это прекрасно успокаивает нервы...

*Я.* Благодарю вас... Вы трус, вы негодяй...

– За что, за что?

– Вы любите другую.

– Успокойтесь, девочка, успокойтесь, милая...

(Я истерически захохотала, укусила ему палец, стала тормозить его, он стал тормозить меня. Я шелкнула его по руке.)

Он. Не требуйте от меня невозможного. Я могу принадлежать единой. Раз и навсегда. Вы не можете быть моей женой. А я не хочу быть подлецом. (Он, весь красный, с огненными глазами, сердито встал и перешел к столу. И от стола):

– Я не узнаю вас, милая Кармен.

– До свиданья, Протасов!..

И я ушла.

20 февраля. Снятся голые какие-то, горячие сны. Снится дьякон Ферапонт, этот верзила-мученик. Он будто бы вынул меня из теплой ванны, закутал в простыню, посадил на ладонь и шувывал вверх-вниз, как ребенка. Я упала, вздрогнула, проснулась. А что ж?.. Чем не герой?.. Господи, какая скука! Хоть бы скорей Масленица. Всеношная кончилась, трезвон колоколов. Очисти, Господи, душу мою. А сердце просится в мир приключений, в мир сказок...

12 марта. Ну вот... Как я буду говеть? Как открою свой грех отцу Александру? Никогда, никогда!.. Я просто скажу, что случайно ночевала в зимовье с каким-то мужиком-охотником... Ходила на лыжах, заблудилась, немножко выпила с ним, нечаянно охмелела. А впрочем, больше ничего и не было. И очень хорошо. И я по-прежнему чиста пред Богом и пред самой собой. Великий пост, благовест, капель, грачи кричат. А ты, бедная, бедная мама, спишь на погосте под крестом.

Помоги своей дочке, помоги!»

Кэтти положила перо, горячо перекрестилась, глянула за окно в месячную ночь.

Пурги как не бывало, тишь, гладь, хмурый лес стоит по бокам, и казаки кончают ужин. Кто в повозках, кто у костров на потниках завалился спать. Двое часовых бодрствовали, кружились с дозором возле стана. Время от времени офицер подымал от седла голову:

– Часовые!

– Есть! На месте.

Он молоденький, голоусый. Проведет благополучно караван, получит от казны награду. В тугой полудреме ему грезится шалунья, любовница пристава Наденька, она подарила ему бирюзовый перстенок, сшила теплый башлык из верблюжьего сукна. Да, жизнь хороша, но... вся в опасностях, дремать нельзя...

– Эй, часовые!

– Есть, на месте!

Тут офицерик вспомнил: Наденька подсунула ему на дорожку коньячку.

– Ребята, хотите для бодрости по стопке? Вот как бы только...

– Дозвольте, ваше благородие. – И часовой Федотов сорвал со стекла сургуч, тукнул дном бутылки о ладонь. – Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом... Пожалте!

Выпили по стопке, по другой. Офицерик поставил остатки коньяка в снежок. Уж месяц подкатился к бахrome тайги, креп озорной морозец-утренник. Коньяк обжигал душу, мутил мысли, голова падала на грудь. Офицерик улыбнулся и заснул. Часовые тоже рады были упасть на снег и захрапеть. Ну что ж... Ночь проходит, страхи кончились, можно погреться у костра. Оба примостились к огоньку, закурили. И в два голоса, тихонько, фистулой, чтобы не разбудить спящих, замурыкали:

Эх, жизнь наша копейка-а-а!..

Пропадешь ни за грош...  
Сабля – лиходе-е-йка-а...

Казаки с ямщиками под мороз, под песню часовых захрапели пуше. Лишь один ямщик, Филька Шкворень, позевывая, притворился спящим. Он бородат, велик, лежит на золоте в повозке. Но и его и часовых долит необоримая дрема. Часовые клюют носами, Филька зевает, крестит рот, но его рука падает, его рука уснула. Крепкий сон свалил и часовых.

И, как из камышей тигры, – мягко прокралась к стану лесная нечисть, рожи у них черные, когти острые. Два всадника, один безносый, другой чернобородый, лохматый, как цыган, – птицами к крайней повозке. Там уже возились пятеро. Дело делалось бесшумно, быстро. Через полминуты кожаная сумка с золотом моталась посредине крепкой жерди, концы которой лежали на спинах двух верховых коней. Цепко придерживая жердь, оба всадника рысью, ступь в ступь, по дороге назад, к заросшей глухой трущобой балке. И не взлай невпопад чертова собачка, прощайся казаки с золотом, тю-тю. Собачка взлаяла, черный всадник и цыган вытянули коней плетью, Филька Шкворень вскочил и полоумно заорал:

– Ребята!! Грабят!!!

И все до одного, кроме офицера с часовыми, сорвались с мест к винтовкам, к лошадям. Трескучий бандитский залп из-за дерев. Два казака, взмахнув руками, пали навзничь, третий торнулся носом в снег, четвертый перевернулся на бегу через голову, вскочил, опять упал, пополз со стоном. Казаки ответили в темную стену тайги залпом. Оттуда новый залп.

– Ребята! Дуй! Наздогоняй!

Филька Шкворень верхом на незаседланном коне лупит вслед за утекающими. Казаки суетливо седлают коней. Вот один вскочил, несется на подмогу к Фильке, но ошалевший конь под казаком бьет задом, пляшет, дает козла.

– Держи, держи! – орет Шкворень, настигая двух разбойников.

Те шпарят коней плетью, конец жердины выскальзывает из руки цыгана, сумка с золотом падает на дорогу. Тут ловко, на всем ходу брошенная Филькой Шкворнем петля поймала цыгана за шею и разом валит его с коня в снег.

– Есть! Готов!!

Но от быстрого сильного рывка кувырнулся с лошади и Филька Шкворень. Собачка трижды взлаяла, черный всадник, освободившись от золотого груза, вихрем ускорился в предутреннюю тьму, нога цыгана на мгновение завязла в стремени, цыган упал.

– А-а-а, попался!! – тяжело пыхтя и задыхаясь, бежит к нему Филька Шкворень: в одной руке конец аркана, в другой широкий нож.

Цыган от Фильки в десяти прыжках, сейчас цыгану перережут горло. Но цыган шустро вскочил, сбросил с шеи петлю и исчез в тайге, как дым.

Лишенный сил от приступа удушья, огромный Филька едва держался на ногах. Возле него в снегу – сдернутый с башки арканом цыганский парик и бородача. А там все еще гремела перестрелка, и три казака примчались на конях в помощь Шкворню. Задыхавшийся Филька Шкворень, чтоб освежиться, сглотнул горсть снегу, сбросил тулуп, кой-как залез на свою лошадинку.

– По следу, ребяташки, по следу!.. Сейчас пымаем подлеца... Ой, тяжело мне.

В тайге еще темно, но опытный бродяга Шкворень заметил, куда свернул беглец.

– Ага... Зверючья тропа... Уйдет, сволочь!

Проехали в сторону ленивой рысцы: снеговой наст плохо еще вздымал коня, копыта то и дело проваливались в глубокие сугробы.

– Назад, ребята, не найти, – сквозь хриплый кашель слезливо сказал бродяга. – Он, может, где-нибудь, дьявол, на дереве сидит. Его и с собаками не сыщешь. Вишь – тьма.



Все кончено. Небо белело. Скоро зальет все пути-дороги бодрящий свет. Но в тайге до восхода солнца будет еще чахнуть сумрак. Золото положено на место. Казне убытка нет. Впрочем, Россия потеряла несколько молодых бойцов. Да два убитых бандита чернели на снегу возле опушки леса.

Офицерик и двое часовых только теперь пришли в себя. Их тошнило, они подымались, падали. Офицерику ждет арест. Он готов разразиться громким детским плачем.

– Я не понимаю... Я... я... Что со мной?

– Не извольте беспокоиться, ваше благородие. Так что золото цело, наших убито шестеро.

## XVI

...В эту ночь инженер Протасов засиделся у Нины. Прохор дома ночевал не так уж часто. Работа заставляла его иногда коротать ночь где-нибудь на заимке, на заводе, в конторе управляющего прииском «Достань», а то просто в тайге, у костра, по-тунгусски.

– Вы, Андрей, должны сопровождать меня по крайней мере до пристани.

– Не знаю, удобно ли это будет.

– Но не могу ж я ехать одна!

Протасов приостановил свой шаг по мягкому ковру и с особой нежностью взглянул в лицо Нине. Он чувствовал теперь какую-то внутреннюю подчиненность ей, и это новое иго радовало его. Но радость была непрочна, ее быстро смывало сознание ответственности перед высокой революционной идеей, на служение которой он силился обречь себя. Нет, лучше быть до конца свободным.

Нина почти угадала мятущееся настроение его.

– Сядьте, Андрей, – сказала она взволнованно. – Мне нужно о многом с вами поговорить.

– Я боюсь, Нина, что ваш муж будет против моей поездки с вами. – И Протасов, ощущая внутренний разлад в себе, сел поодаль от Нины. – Скоро откроется навигация... Масса дела. Прохор Петрович протестует.

– Ничего подобного. Я уверена, что муж будет рад...

– Вы думаете? – И Протасов испугался...

– Не думаю, я совершенно убеждена в этом.

Протасов испугался еще больше и сказал:

– Это было бы великолепно.

Прохор вернулся домой на другой день к вечеру. Весь поселок уже знал о нападении в тайге на золотой караван. С утра помчались туда казаки с пожилым офицером, следователь и два урядника.

Пристав явился в поселок только к полудню. Он в ту тревожную ночь будто бы ловил спиртоносов на новом золотиносном участке. Узнав о происшествии, он наскоро перекусил и тоже выехал туда в самом мрачном настроении. Наденька слегла, плакала в кровати, молилась Богу: ей жалко было офицера...

Прошла неделя. Пристав свирепствовал. Поймали в тайге трех спиртоносов, двух бродяг. Пристав пытками заставлял их покаяться в нападении на золотой караван. Опрашивались казаки. Офицера увезли в город. Тюрьма в поселке еще не готова: увезли в город бродяг и спиртоносов.

В полночь Прохор постучал к приставу.

– Кто там?

– Отопри.

Прохор вошел с волком. Наденька схватилась за голову, она старалась улыбнуться, но широко открытые глаза ее враз налились мутью страха.

– Вы убить меня не можете. – И Прохор сел в угол, за стол. – Волк разорвет вас обоих. Кроме того, я неплохо стреляю и... вообще вас не боюсь... – Он положил возле себя «браунинг».

Пристав запахнул халат и переглянулся с Наденькой. Наденька холодела, у пристава шевелились усы и подусники.

– Прости, Прохор Петрович... Но я догадываюсь, что ты сошел с ума.

– С вами сойдешь, – мрачно, однако спокойным голосом ответил Прохор.

– Может быть, чайку с коньячком?

Наденьку не держали ноги, присела на стул.

– Нет, спасибо, – сказал Прохор. – Твоего коньячка боюсь. Я со своим... – Прохор вынул из кармана недопитую молоденьким офицериком бутылку. – Ну-ка, поди-ка сюда... – Он постучал пальцем по этикетке на бутылке. – Марку видишь?

– Вижу, – прошептала белыми губами Наденька.

– Подай две рюмки – себе и Федору Степанычу.

Наденька, переступая ногами, как лунатик, подала. Волк сидел возле хозяина. Прохор налил две рюмки.

– Пей.

Наденька, не дрогнув, зацурилась и выпила.

– Федор, пей!

– Я не могу, уволь.

– Я эту бутылку, найденную на месте нападения, следовательно не отдал. Не отдал и твоего, Федор, парика с бородой и твоей шпоры. Когда тебя зацепил аркан, ты упал и задел шпорой за стремя.

Пристав побагровел, бросился к Прохору и, перекосив рот, ударил кулаком в столешницу. Волк внезапным прыжком опрокинул его на пол. Наденька завизжала. Пристав поднялся, нырнул в другую комнату, захлопнул за собой дверь.

– Надежда, не бойся, – сказал Прохор. – Жена моя надолго уезжает с Протасовым, ты переберешься ко мне сейчас же. Ты будешь моей. Говори, кто цыган?

В глазах, в каждом мускуле, в каждой кровинке Наденьки отразилась страшная внутренняя борьба. Она мучительно искала в себе ответ. Она безмолвствовала.

– Ну?

Она безумно замотала головой и закричала:

– Не знаю!.. Ничего не знаю!.. Миленький мой, Прохор Петрович... Ангел! – Лицо, глаза, губы смеялись, по щекам текли слезы страха и надежды.

Дверь приоткрылась. Через комнату пролетели и упали к ногам Прохора сапоги со шпорами. Дверь опять захлопнулась. За дверью орал, ругался пристав.

– Любишь?

Наденька заплакала пуще, засмеялась, вся посунулась к Прохору, как к магниту сталь. Но волк оскалил зубы.

– Кто цыган?

– Не спрашивай. Не спрашивай... – шептала она, всплеснув руками. – Ведь он меня зарежет... Я вся в синяках... Спаси меня, миленький...

– Пей!

Через силу, вся замерев, вся содрогнувшись, Наденька отчаянно вонзила в себя вторую рюмку отравы, сморщилась, сплюнула, затрясла головой, и ноги ее подсеклись.

– Ми-лый!..

Прохор, прикасаясь к ней с гадливостью, провел ее к дивану, подошел к закрытой двери, с силой ударил в нее сапогом:

– Федор, иди.

Пристав гордо вышел в парадной форме с медалями, с крестом: гарантия, что Прохор не рискнет «оскорбить мундир».

– Чем могу служить?

– Ничем... Ты мне вообще служить не можешь... – задыхаясь внутренним гневом, резко сказал Прохор. Он дрожал, хватался руками за воздух. Он грузно сел.

Пристав стоял у печки; выражение его лица удрученное, злое. Весь вспружиненный, он приготовился к кровавой схватке.

Прохор смотрел на него с ненавистью и минуты две не мог произнести ни слова. Сильный Прохор, непобедимый Прохор – перед ним все трепещут – силою обстоятельств давно поработан этим человеком. Иметь всю власть, всю мощь, все богатство – и быть под сапогом у мрази!

Прохор едва овладел собой, чтоб не разревется злобным плачем. Прохор с маху ударил кулаком в стол, заскрипел зубами и – еще момент – он бы бросился на пристава. Страшные глаза его, которых боялся даже волк, заставили пристава придвинуться ближе к двери.

– Нас никто не слышит. Наденька сама себя отравила, – глухим, каким-то рычащим голосом начал Прохор. – Я хотел тебе сказать, что так жить нельзя. Я больше не могу. Я мучаюсь, понимаешь, мучаюсь. На ногах моих гири. На сердце камень, на камне – твоя нога. Нам здесь вдвоем не жить. Или ты, или я. Знай, если будешь упрямиться, я тебя уничтожу.

– Нельзя ли без угроз, мой милый, – махнул пристав по усам и, звякнув шпорами, важно сел в кресло. – Я не тебе служу, а служу главным образом государю императору. – И пристав, надув толстые щеки, выпустил целую охапку воздуха.

Прохор издевательски захохотал:

– Подлец, фальшивомонетчик, разбойник при большой дороге – не слуга царю.

– Что, что?! – стукнул пристав шашкой в пол, и бычьи глаза его страшно завертелись.

– Давай говорить спокойно. Не ори, – сказал Прохор. – Я прекрасно понимаю и тебе советую понять, что еще недавно ты при желании мог бы погубить меня. Но теперь, когда я узнал, кто ты, не ты меня, а я тебя погублю.

– Не так-то скоро... Ха-ха!..

– В три дня!! – грохнул кулаком Прохор. Волк вскочил.

Пристав захохотал испуганно, сказал:

– Чудак, барин!

Наденька стонала и поплеывалась во сне. Часы захрипели и пробили два ночи. Выюга с визгом облизывала окна.

– За организованное нападение на караван золота с убийством шести казаков тебя ждет петля.

– Слушайте, Прохор Петрович, вы окончательно с ума сошли... Ведь подобное предположение можно делать только в белой горячке... Чтоб я... слуга государя... Ха-ха-ха!..

Прохор задымил сигарой и сказал:

– Тысяча, которую ты дал Парчевскому, фальшивая. Он в городишке продул ее в карты. Городскими властями составлен протокол. В моих лавках и в конторе обнаружено много фальшивых денег. Я несу убытки. Фальшивые деньги делаешь ты в Чертовой хате на скале. Ты – цыган. Твой парик, шпора и Наденькин коньяк у меня. Филька Шкворень и два казака крепко тебя заприметили там, на деле: твои усы и твое брюхо. И морду, конечно... Извини... А главное – твой соратник, безносый спиртонос с собачкой, пойман и во всем сознался. Обо всем этом, ежели занадобится, я через три дня телеграфирую губернатору. Ежели занадобится, повторяю...

Пристав схватился за виски и на подгибающихся ногах стал ходить по комнате. Шпоры пристава позвякивали жалобно, как бы прося пощады. Грудь распиралась подавленным пыхтением, отчаянными вздохами, все мысли в голове померкли. Сердце Прохора облилось радостной кровью.

– Уфф!.. – выдохнул пристав и повалился на колени к дивану Наденьки. Он уткнулся головой ей в грудь и дряблым, как жвачка, голосом взывал:

– Надюша!.. Надя!.. Встань. Меня губит близкий друг... Близкий человек, которого я любил, которого я оберегал с пеленок... О, проклятие!..

– Слушай, – встал Прохор и оперся руками о стол. – Нельзя ли без фокусов и без душе-раздирающих монологов. Меня этим не возьмешь, я не институтка, я не младенец двух лет по третьему... Ты говоришь: друг? Ладно. Спасибо. Слушай внимательно...

Пристав, стоя на коленях все в той же позе, спиной к Прохору, вынул платок, стал вытирать лицо, тихо посмаркиваться.

– За всю мою жизнь... Ты слышишь? Я тебе переплатил больше пятидесяти тысяч рублей. Я считаю, что этой суммы совершенно довольно, чтоб выкупить те документы против меня, которые у тебя в руках. Итак, я жду от тебя документов.

Пристав так порывисто вскочил, что опрокинул пред-диванный стол с фарфоровой вазой, обернулся к Прохору и, потряхивая кулаками, истерически закричал-затопал:

– Нет у меня документов! Не дам!! Не дам!! И ты врешь, что спиртонос пойман...

– Не дашь?

– Не дам! Я лучше сожру их, как сожрал твой документик Иннокентий Груздев.

– Не дашь?

– Не дам... Они у меня в губернском городе, в сохранном месте...

– Покажи твою железную шкатулку...

– Фига!.. Обыск?

– Не дашь? В последний раз...

– Не дам.

– Тогда прощай.

Прохор взял цепочку волка и пошел с ним к двери. Обернулся. И холодным голосом проговорил:

– Итак, сроку тебе – три дня! Самое лучшее, если тыпустишь себе пулю в лоб. Мой дружеский совет – стреляйся.

## XVII

В дом Громовых, за четыре дня до отъезда Нины, пришли ранним утром два инженера: Андрей Андреевич Протасов и Николай Николаевич Новиков, седоусый, лысый, – представитель государственного горного надзора. Он не так давно прибыл с ревизией из губернского города.

Шустрая Настя, снимая с Протасова пальто, сказала:

– Прохор Петрович очень даже расстроены. Не знаю, примут ли.

Подшли к кабинету. За плотно закрытой дубовой дверью – тяжелые шаги и грубое хозяйское покашливание. Инженеры постояли, посоветовались, войти или нет.

– Давайте отложим на завтра, – предложил Новиков. Будучи человеком самостоятельным, почти не подчиненным Громову, он не то чтобы побаивался Прохора Петровича, но в его присутствии всегда чувствовал некоторую неловкость. В разговоре с Прохором, как это не раз случалось, легко можно было нарваться на резкий купеческий окрик, на запальчивый жест.

У Протасова заалели кончики ушей, и воротник форменной тужурки стал тесен. Протасов крепко постучал в дверь:

– Прохор Петрович, по делу.

– Войдите!

Высокий, широкоплечий, чуть согнувшийся, Прохор стоял у стола. После объяснения с приставом он всю ночь не спал. Лицо желтое, под глазами мешки.

– Что нужно?

Протасов демонстративно сел без приглашения и с самоуверенным видом закурил папироску. Новиков стоял. Прохор, кряхтя, как старик, опустился в кресло.

– Садитесь, Николай Николаевич. – И Протасов придвинул Новикову стул.

Прохор откинул назад чуб и выжидательно прищурился.

– Мы к вам по делу, – сказал Протасов, открыл портфель, заглянул в него и вновь закрыл. – Наш разговор с вами, Прохор Петрович, довольно продолжительный и, может быть, не совсем для вас приятный.

Ноги Прохора задвигались под столом; он поднял правую бровь и насторожился.

– Дело в том, что мы с Андреем Андреевичем, – начал было инженер Новиков, но Прохор сразу перебил его:

– Уж кто-нибудь один говорите... Не могу же я...

– Николай Николаевич, – в свою очередь перебил Протасов Прохора. – Прошу вас, излагайте...

Прохор приподнялся, подогнул левую ногу, сел на нее.

– Ну-с?

Низенький, сутулый, со втянутой в плечи головой, инженер Новиков оседлал нос большими старинными очками и вынул из портфеля бумагу:

– Вот инструкция... Инструкция, как вам известно, составленная горным департаментом и высочайше утвержденная...

– Ну, знаю... Только не тяните, пожалуйста, мне некогда.

– Простите, Прохор Петрович, – двинулся на стуле Протасов. – Разговор, по поводу которого мы вас беспокоим, в сто раз важнее всех дел, даже дел, не терпящих отлагательства.

– Я, как представитель государственного надзора, – подхватил Новиков, – к сожалению, нахожу, что инструкция эта, ограждающая интересы рабочих, не во всех пунктах вами исполняется.

– Например?

– Для того чтоб иллюстрировать примерами, – сказал Протасов, – надо вам проследовать с нами на место работ.

Всю дальнюю дорогу до прииска «Нового» Прохор был погружен в тяжелые думы. Неустойчивое душевное равновесие ввергало его мысли в какой-то холодный мрак. Он томился сейчас о поддержке извне, но такой поддержки не было. Между ним и Ниной все темней и темней становился слой внутренних противоречий. Да и к тому же Нина вот-вот уедет, тогда Прохор Петрович остается наедине с собой. И это предстоящее одиночество тревожило его.

– Лисица, лисица! – закричали оба инженера, сидевшие рядом с Прохором в санях.

Но в Прохоре не встрепенулся обычный инстинкт охотника, Прохор и бровью не повел. Тем не менее в его мозгу привычным рефлексом стукнул воображаемый выстрел по зверьку, и все мысли Прохора сразу переключились на другое. «Застрелится пристав или нет? Конечно ж, нет. Тогда как же вести себя, что делать с этим гнусным человеком?» И Прохор быстро решил: «Пристава убьет Филька Шкворень».

Расчищенная дорога шла с горы на гору. Снег осел на ней, обильно забурел раздрябший конский помет. В распадках и балках со склонов голыцов стремились неокрепшие мутные потоки.

На прииске «Новом», отвоеванном в прошлом году у Приперентьева, еще с осени открыты надземные в «разрезах» и подземные «шахтовые» работы. Проведены канавы, водостоки, устроены плотины, дорожки для возки вручную песков и крепежных материалов. Теперь шли плотничные и кузнечные работы в механических, еще не вполне законченных мастерских и на электрической станции. Общее впечатление от оборудования прииска: недоделка, дешевка, примитивность. Прохор не был уверен, что прииск «Новый» прочно останется за ним, поэтому он жалел на него денег, все делалось кое-как, лишь бы наспех урвать как можно больше золота, а потом и бросить. Прохор был в этом деле заправским хищником крупного масштаба.

Каменистая, всхолмленная поверхность изборождена выемками, канавами, отвалами отработанных песков. По канavam несутся мутные глинистые воды промывных аппаратов. Кругом – весенний снег, загрязненный копотью, песком, горами камней, всяким хламом, человеческими экскрементами. Картина для глаза удручающая. Яркое солнце еще больше подчеркивает убожество рабочей обстановки. Здесь и там вяло двигаются плохо обутые, одетые в рвань люди. Тачечники, землекопы, откатчики, водоливы. Лица их мрачны, болезненны, бескровны. Многие страдают затяжным удушливым кашлем, чахоткой; почти у всех жесточайший ревматизм.

Над каждой шахтой вместо механического крана торчит допотопное сооружение: вертикальный, уродливого вида ворот с конным приводом. Он служит для подъема из шахты бадей с золотиносным песком и для спуска в шахту крепежных материалов.

– Вот, Прохор Петрович, – начал Протасов уверенным, официальным тоном, чтоб внушить Прохору уважение к своим словам. – Эти безобразнейшие махины сооружены по вашему указанию и вашему настойчивому приказу. Теперь представьте: бадья с песком поднята, в ворота полонка, он сдает. Тормоз – бревно. Им трудно быстро справиться. И ежели оплошает человек у ворота, бадья в десять пудов весом грохнет вниз на голову рабочего. Вы понимаете? И такой случай был...

– Это противозаконно, – подтвердил инженер Новиков и отметил в записной книжке.

Прохор промывал что-то под нос и нахохлился.

Из механической мастерской вышел – в звериных шкурах – заведующий прииском практик-золотоискатель Фома Григорьевич Ездаков, рыжебородый, с проседью, горбоносый человек. Великолепный организатор, большой знаток тайги и золотого дела, он обладал необычайным нюхом разгадывать, где скрыто золото. Он когда-то имел свои прииски, однако рабочие,

которых он злостно эксплуатировал, выпустили его «в трубу» и решили убить его, но он в ночь утек, бросив рабочих в тайге на произвол судьбы. Началась небывалая трагедия. Стояли сорокаградусные морозы. Есть было нечего. Рабочие разбрелись по бездорожной тайге. Многие замерзли, многие пали в жестокой поножовщине: удар ножа решал, кому жить, кому быть съеденным. Иные посходили с ума, и почти все они, безвестные труженики, так или иначе погибли. Ездаков был схвачен, судим, попал на каторгу. Но золото наследников скоро освободило его. По другим же сведениям, он, задушив караульного, просто-напросто с каторги бежал.

То было десять лет тому назад; теперь Ездаков вынырнул из неизвестности и попал сюда. Этот звероподобный человек имел на прииске всю полноту власти. Он редко штрафовал рабочих, редко читал им нотации, зато всех бил по зубам. Молодых женщин насиловал, ребятишек тиранил. Протестовать бесполезно, опасно: расчет – и вон. Контора не вступится. Опозоренные женщины по ночам плакали, жаловались мужьям; мужья, стиснув зубы, лупили жен насмерть. Так шла жизнь.

Ездаков быстро подошел к хозяину, сдернул шапку с плешивой головы и сладко улыбался всем красным обветренным лицом, но большие навывае глаза были злы, жестоки.

– Здравствуй, батюшка хозяин, ваше превосходительство Прохор Петрович! Как ваше драгоценное?

Он схватил руку Прохора в обе свои лапы и, с собачьей преданностью заглядывая в хозяйские глаза, лъстиво, долго тряс протянутую руку, даже попробовал прижать ее к своей груди.

Инженеры с презрением глядели на него. Он, виляя глазами во все стороны, ожег их взглядом, наглым и надменным.

– Вот, Фома Григорьевич, – сказал Прохор, – господа инженеры обижать меня надумали...

– Эх, батюшка, Прохор Петрович, сокол ясный!.. – встряхивая длинными руками оленьей дохи, запел гнусавым баском Ездаков. – Инженеры для того и рождаются, чтоб нашего брата, делового человека, утеснять да за нос водить.

– Надень шапку, – сказал Прохор.

– Слушаю-с.

– Вы, господа, не протестуете, если Ездаков примкнет к нам?

– Его присутствие, как заведующего прииском, необходимо, – сказал Протасов.

– Он несет по своей должности строгую ответственность перед законом, – скрепил Новиков.

– Закон что дышло, хе-хе, – забубнил Ездаков, – куда повернул – туда и вышло. Законы пишут в канцеляриях. На бумаге все гладко, хорошо... Нет, ты попробуй-ка в тайге... с этим каторжным людом. Надсмеются, голым пустят... Ого! Эти народы опасные. Палец в рот положи – всю руку откусит... В тайге, милые люди, господа ученые, свои законы. Да-с, да-с, да-с... Жестокие, но свои-с...

– Со своими законами можно в каторгу угодить, – буркнул терявший терпение Протасов.

– Каторга? Хе-хе-с. Бывал-с, бывал-с... Знаю, не застрашаете. В тайге свои законы, в каторге – свои. Хе-хе, закон?... Закон говорит: «Гладь рабочего по головке, всячески ублажай его». А царь говорит: «Давай мне больше золота». Кто выше – царь или закон? Ага, то-то...

– Рабочий, поставленный в нормальные условия, будет вдвое старательней, – сказал, кутаясь в шубу, Новиков.

– Черта с два, черта с два! – вскричал Ездаков. – Не оценит-с, поверьте, рабочий не оценит-с... И ежели по правилам поступать, золото-то во сколько обойдется? Что государь-то скажет, а? А рабочий – тьфу! Зверь и зверь. Только хвоста нет. Рабочий сдохнет, а на его место уж двадцать новых народилось. А золото-то, ого-го!.. Золото, я вам скажу, дорогая штучка. Золота в земле мало, а людей, этой плесени, этой мошкеры Боговой, хоть отбавляй. Да я людишек в грош не ставлю.



– Наглец! – сказал себе под нос инженер Протасов, а Прохору эти подлые речи – как маслом по душе.

Не торопясь, нога за ногу, подошли к главной шахте.

– Прежде чем спуститься в штрек, я должен вам сказать следующее. – И низкорослый инженер Новиков поднял на Прохора глаза и волосатые ноздри. – Здесь самый богатый золотonosный слой идет на значительной глубине, то есть он простирается в пределах вечной мерзлоты. Значит, что ж? Значит, для облегчения труда приходится прибегать к оттаиванию пород. Как? Вам известно. В забоях и штреках усиленно жгут костры. А вентиляция, где она? Нету вовсе, или самая первобытная – сквознячки. Значит, что? Значит, страшный дым, угар, постоянная угроза здоровью рабочих. Я вам должен заявить, что правительственный надзор этого потерпеть не может.

– Да будет, будет вам песни-то петь, – сладко прищурившись, загнул Фома Григорьевич Ездаков. – Какой угар, какой дым? Да с чего вы взяли, господа? Да вы бы посмотрели, в каком дыму парятся мужики в банях по-черному... И ничего... А курные избы? Вы видели? И ничего – живут. Живут и Бога благодарят.

– Мужики могут жить как им угодно и как угодно могут благодарить Бога, рабочие же...

– Ну, бросьте, – сказал Прохор. – Давайте спускаться.

В соседней теплушке они надели длинные непромокаемые сапоги, брезентовые пальто и широкополые кожаные шляпы.

Спуск в шахту очень неприятен. Темный, сырой колодец глубиной пятнадцать сажен. Обыкновенная, из жердей лестница, вроде тех приставных лестниц, по которым влезает на крыши. Прохор спускался последним. Было противно хвататься за скользкие ступеньки, густо покрытые липкой грязью. Лестницы расположены по винтовой поверхности и были подвешены почти вертикально. Опасен момент перехода с лестницы на лестницу. Надо уцепиться за скобу, крепко вбитую в стену, прозеваешь – сорвешься в пропасть, в смерть.

– Эй, слушайте! Тут темно... Не вижу, – перетрусил Прохор.

– Хватайтесь за скобу! Осторожней! Не оборвитесь...

Со стен, чрез неплотную обшивку, струилась вода. Снизу шел промозглый холод, сдобренный угарной окисью углерода и парами газов от динамитных подрывных работ. У Прохора гудело в ушах, кружилась голова.

Спустились в сырой полумрак. Два градуса тепла по Реомюру. Кой-где мерцали электрические лампочки. Под ногами хлюпающая по щиколотку грязь. Ноги скользят, вязнут, спотыкаются. Сюда обильно проникают грунтовые воды из окружающих шахту напластований. Сверху, с боков бежит вода – то струйками, то значительным потоком.

С десяток плотников, одетых в непромокай и широкополые шляпы, напрягая все силы, устраивали из тяжеловесных брусьев крепи. Со всех сторон и сверху их поливало грязной жижей. Вода сочилась в рукава, за воротник. Измокшие плотники, грязные, как черти, работали с надрывом, с проклятиями, с руганью.

– Сколько, ребята, получаете? – нарочно громко спросил Протасов.

– Рубль семьдесят на сутки, будь он проклят! – озлобленно закричали рабочие. – Прямо смерть, что над нами хозяин делает.

– А какова продолжительность рабочего дня?

– Разве вы, Протасов, забыли? – поморщился Прохор.

– Я-то не забыл. Но мне кажется, что об этом забыли вы, – кольнул Протасов.

Плотники, бросив работу, шумели. Плечистый старик крикливо жаловался:

– По одиннадцать часов без передыху дуем. В этакой-то мокрети... Хвораем, мрем...

Господин Протасов, это, кажись, ты? Объясни хозяину. Сил нет.

Неузнанный Прохор надвинул на глаза шляпу, зарылся носом в воротник пальто. Он хотел спрятаться от самого себя. Вид говорившего старика «мазилки» был ужасен. Впалые

щеки густо заляпаны мокрой грязью, по седой бороде – грязь; уши, нос, все лицо в грязи, грязные руки в суставных ревматических буграх.

Всюду грязь, кругом грязь, мрак, журчание воды, сплошные хляби. Прохора бил озноб. Прохора одолевал физический холод.

Серыми тенями шмыгали тачечники, кáтали, бадейщики. Вдали, по коридорчику направо, слышно, как сталь ударяла о камень, въедалась в золотоносную жилу, добывая Прохору славу и богатство. Где-то прогремел взрыв, где-то рушились камни и раздался стон. Вот тоскливая песня пронеслась и смолкла, утонув в проклятии. Пыхтящие вздохи, матерщина, грубый, злобный разговор и – вновь проклятия.

– Пойдемте наверх, – не выдержал Прохор.

Свет солнца ударил в глаза, грудь с жадностью вдохнула в себя бодрящий свежий воздух. В теплушке переоделись.

– Конечно, не первоклассно, – загугнил, подхехекивая, Ездаков. – Но бывает и хуже... Ох, много, много хуже бывает. А мы что ж, мы в этом прииске работаем внове, еще не оперились... Торопиться нечего. Помаленьку наладим.

Протасов сердито нагнулся к топившейся железной печке и закурил папиросу.

– На месте правительственного надзора, – сказал он, – я бы или закрыл этот прииск, или предложил владельцу в кратчайший срок переоборудовать его.

– Я на этом принужден буду настаивать, – внушительно подтвердил инженер Новиков, подняв на Прохору брови, глаза и ноздри.

– Ха! – раздражительно воскликнул Прохор. – Да вы, господа, кто? Вы социалисты или слуги мои и государевы?

Новиков попятился и разинул рот, бубня:

– При чем тут социализм? Странно, странно.

– Я вашим слугой в прямом смысле никогда не был и не буду, – вспылil Протасов. – Я служу делу. В крайнем случае мы можем в любой момент расстаться.

Прохор испугался: Протасовых на свете мало.

– Андрей Андреич, ради Бога, успокойтесь, что вы... Я вами очень дорожу. – И Прохор заискивающе потрепал Протасова по плечу, а на Ездакова крикнул: – Иди, Фома Григорыч, на работы!.. Чего ты тут околачиваешься...

– Слушаю-с...

Наступал вечер. Осмотр остальных предприятий был назначен на ближайшее время. Протасов все-таки настоял, чтоб хозяин с жилищными условиями рабочих ознакомился сегодня же.

– Мы заглянем, хотя бегло, кой в какие бараки, там, в поселке.

Прохор скрепя сердце подчинился.

Двинулись по снежку домой. Уныло звякали бубенцы тройки. Справа черная бахрома тайги дымилась желтоватым светом: всходила ранняя луна. Темным вечером приехали в поселок. Унылый вид бараков и казарм, куда летом Протасов водил Нину, в зимнее время был еще непригляднее. Какие-то кривобокие, подпертые бревнами, они до самых окон и выше были забросаны снегом. Снег поливали водой, утрамбовывали. Это предохраняло от ветра, врывавшегося в плохо проконопаченные пазы. В сильные морозы в бараках нестерпимый холод: мокрые сапоги примерзали к полу, по стенам, в углах, на потолке иней.

Вошли в барак для семейных. Дымно, душно; воздух, как в бане, пропитан испарениями. Над очагами сушились сырые валенки, всюду развешаны мокрые штаны, рубахи, прелые портянки. Вонь, пар. На гвоздях висят облепленные тараканами тухлые куски мяса, вонючая рыба, селедки.

– У нас на работе почти нет теплушек, – сказал Протасов. – Я несколько раз указывал на это Прохору Петровичу. Поэтому, выйдя совершенно мокрым из шахты, рабочий должен

бежать домой иногда верст семь. При наших морозах это бесчеловечно. Вот видите, все сырое сушится здесь. А где рабочий моется, где чистится – такой грязный после работ и разбитый? Все здесь же, вот из этих рукомойников.

– На то есть баня, – возразил Прохор.

– В баню рабочие по очереди попадают два раза в год...

– Позор, позор! – пожимая плечами, прошептал Новиков.

Рабочие собрались еще не все, а иные шли в ночную смену. Те, кто успел поужинать, укладывались спать. В казарме, когда-то выстроенной на сорок человек, помещалось полтораста. Страшная теснота заставляла многих спать на холодном земляном полу. Там же, поближе к очагам, спали вповалку и дети. Простуда, болезни не выводились. По казарме, вместе с крупной перебранкой, шел затяжной кашель, хрипы, оханье. Казарма напоминала больницу или, вернее, грязную ночлежку последнего разбора.

Измученные тяжелой работой люди не обращали ни малейшего внимания на комиссию с хозяином во главе. Впрочем, присутствие хозяина-рвача их злило. Многих подмывало сказать ему в глаза дерзость, обложить его крепким словом, но не хватало духу – трусили. Бабы были смелей. Лишь только Прохор присел возле очага на лавку, как его окружили женщины и наперебой стали зудить ему в уши.

– Я Анна Парамонова, – кричала грязная, но смазливая лицом бабенка. – Твой Ездаков – чтоб ему в неглыбком месте утонуть – назначил меня к себе для увеселительного удовольствия и стал приставать ко мне, я дала отпор, – он потребовал моего мужа в раскомандировочную и выдал немедленно расчет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.